

Иван Тургенев

•

Бретёр^[1]

I

...ий кирасирский полк квартировал в 1829 году в селе Кириллове, К...ской губернии. Это село с своими избушками и скирдами, зелёными конопляниками и тощими раkitами издали казалось островом среди необозримого моря распаханых чернозёмных полей. Посреди села находился небольшой пруд, вечно покрытый гусиным пухом, с грязными, изрытыми берегами; во ста шагах от пруда, на другой стороне дороги, высился господский деревянный дом, давно пустой и печально подавшийся набок; за домом тянулся заброшенный сад; в саду росли старые, бесплодные яблони, высокие берёзы, усеянные вороньими гнёздами; на конце главной аллеи, в маленьком домишке (бывшей господской бане) жил дряхлый дворецкий и, покрёхтывая да покашливая, каждое утро, по старой привычке, тащился через сад в барские покои, хотя в них нечего было стеречь, кроме дюжины белых кресел, обитых полинялым штофом, двух пузатых комодов на кривых ножках, с медными ручками, четырёх дырявых картин и одного чёрного арапа из алебаstra с отбитым носом. Владелец этого дома, молодой и беспечный человек, жил то в Петербурге, то за границей — и совершенно позабыл о своём поместье. Оно досталось ему лет восемь тому назад от престарелого дяди, известного некогда всему околотку своими отличными наливками. Пустые тёмно-зелёные бутылки до сих пор ещё валялись в кладовой вместе с разным хламом, скупно исписанными тетрадами в пёстрых переплётax, старинными стеклянными люстрами, дворянским мундиром времён Екатерины, заржавевшей шпагой с стальной рукояткой и т. д. В одном из флигелей помещался сам полковник, человек женатый, высокого роста, скупой на слова, угрюмый и сонливый. В другом флигеле жил полковой адъютант, чувствительный и раздушенный человек, охотник до цветов и до бабочек. Общество гг. офицеров ...го полка не отличалось от всякого другого общества. В числе их были хорошие и дурные, умные и пустые люди... Между ними некто Авдей Иванович Лучков, штабс-ротмистр, слыл бретёром. Лучков был роста небольшого, неказист; лицо имел малое, желтоватое, сухое, волосы жиденькие, чёрные, черты лица обыкновенные и тёмные глазки. Он рано остался сиротой, вырос в нужде и загоне. По целым

неделям вёл он себя тихо... и вдруг — словно бес какой им овладеет — ко всем пристаёт, всем надоедает, всем нагло смотрит в глаза; ну так и напрашивается на ссору. Впрочем, Авдей Иванович не чуждался своих сослуживцев, но в дружбе состоял с одним только раздушенным адъютантом; в карты не играл и не пил вина.

В мае 1829 года, незадолго до начатия учений, прибыл в полк молодой корнет Фёдор Фёдорович Кистер, русский дворянин немецкого происхождения, очень белокурый и очень скромный, образованный и начитанный. Он до двадцатилетнего возраста жил в родительском доме под крылышками матушки, бабушки и двух тётушек; поступил же в военную службу единственно по желанию бабушки, которая даже под старость не могла без волнения видеть белый султан... Он служил без особенной охоты, но с усердием, точно и добросовестно исполнял долг свой; одевался не щеголевато, но чисто и по форме. В первый же день своего приезда Фёдор Фёдорович явился к начальникам; потом начал устраивать свою квартиру. Он привёз с собою дешёвенькие обои, коврики, полочки и т. д., оклеил все стены, двери, наделал разных перегородок, велел вычистить двор, перестроил конюшню, кухню, отвёл даже место для ванны... Целую неделю хлопотал он; зато любо было потом войти в его комнату. Перед окнами стоял опрятный стол, покрытый разными вещами; в углу находилась полочка для книг с бюстами Шиллера и Гёте; на стенах висели ландкарты, четыре греведоновские головки^[2] и охотничьи ружья; возле стола стройно возвышался ряд трубок с исправными мундштуками; в сенях на полу лежал коврик; все двери запирались на замок; окна завешивались гардинами. Всё в комнате Фёдора Фёдоровича дышало порядком и чистотой. То ли дело у других товарищей! К иному едва проберёшься через грязный двор; в сенях, за облупившимися парусинными ширмами, храпит денщик; на полу — гнилая солома; на плите — сапоги и донышко банки, залитое ваксой; в самой комнате — покоробленный ломберный стол, исписанный мелом; на столе — стаканы, до половины наполненные холодным тёмно-бурым чаем; у стены широкий проломленный, замасленный диван; на окнах — трубочный пепел... На неуклюжем и пухлом кресле восседает сам хозяин в шлафроке травяного цвета с малиновыми плюсовыми отворотами и вышитой ермолке азиатского происхождения, а возле хозяина храпит безобразно толстый и негодный пёс в вонючем медном ошейнике... Все двери всегда настежь...

Фёдор Фёдорович понравился своим новым товарищам. Они его

полюбили за добродушие, скромность, сердечную теплоту и природную склонность ко «всему прекрасному» — словом, за всё то, что в другом офицере нашли бы, может быть, неуместным. Кистера прозвали красной девушкой и обращались с ним нежно и кротко. Один Авдей Иванович поглядывал на него косо. Однажды, после ученья, Лучков подошёл к нему, слегка сжимая губы и расширяя ноздри.

— Здравствуйте, господин Кнастер.

Кистер взглянул на него с недоумением.

— Моё почтение, господин Кнастер, — повторил Лучков.

— Меня зовут Кистер, милостивый государь.

— Вот как-с, господин Кнастер.

Фёдор Фёдорович обернулся к нему спиной и пошёл домой. Лучков с усмешкой посмотрел ему вслед.

На другой день он, тотчас после ученья, опять подошёл к Кистеру.

— Ну, как вы поживаете, господин Киндербальзам? Кистер вспыхнул и посмотрел ему прямо в лицо. Маленькие, желчные глазки Авдея Ивановича засветились злобной радостью.

— Я с вами говорю, господин Киндербальзам!

— Милостивый государь, — отвечал ему Фёдор Фёдорович, — я нахожу вашу шутку глупую и неприличную — слышите ли? глупую и неприличную.

— Когда мы дерёмся? — спокойно возразил Лучков.

— Когда вы хотите..., хоть завтра.

На другое утро они дрались. Лучков легко ранил Кистера и, к крайнему удивлению секундантов, подошёл к раненому, взял его за руку и попросил у него извиненья. Кистер просидел дома две недели; Авдей Иванович несколько раз заходил навестить больного, а по выздоровлении Фёдора Фёдоровича подружился с ним. Понравилась ли ему решительность молодого офицера, пробудилось ли в его душе чувство, похожее на раскаянье, — решить мудрено... но со времени поединка с Кистером Авдей Иванович почти не расставался с ним и называл его сперва Фёдором, потом и Федей. В его присутствии он делался иным человеком, и — странное дело! — не в свою выгоду. Ему не шло быть кротким и мягким. Сочувствия он всё-таки возбуждать ни в ком не мог: уж такова была его судьба! Он принадлежал к числу людей, которым как будто дано право власти над другими; но природа отказала ему в дарованиях — необходимом оправдании подобного права. Не получив образования, не отличаясь умом, он не должен был быть разоблачён; может быть, ожесточение в нём происходило именно от сознания недостатков своего воспитания,

от желанья скрыть себя всего под одну неизменную личину. Авдей Иванович сперва заставлял себя презирать людей; потом заметил, что их пугнуть нетрудно, и действительно стал их презирать. Лучкову было весело прекращать одним появлением своим всякий не совсем пошлый разговор. «Я ничего не знаю и ничему не учился, да и способностей у меня нет, — думал он про себя, — так и вы ничего не знаете и не выказывайте своих способностей при мне...» Кистер, быть может, потому заставил Лучкова выйти наконец из своей роли, что до знакомства с ним бретёр не встретил ни одного человека действительно «идеального», то есть бескорыстно и добродушно занятого мечтами, а потому снисходительного и не самолюбивого.

Бывало, Авдей Иванович придёт поутру к Кистеру, закурит трубку и тихонько присядет на кресла. Лучков при Кистере не стыдился своего невежества; он надеялся — и недаром — на его немецкую скромность.

— Ну, что? — начинал он. — Что вчера поделывал? Читал небось, а?

— Да, читал...

— А что ж такое читал? Расскажи-ка, братец, расскажи-ка. — Авдей Иванович до конца придерживался насмешливого тона.

— Читал, брат, «Идиллию» Клейста.^[3] Ах, как хорошо! Позволь, я переведу тебе несколько строк. — И Кистер с жаром переводил, а Лучков, наморщив лоб и стиснув губы, слушал внимательно...

— Да, да, — твердил он поспешно, с неприятной улыбкой, — хорошо... очень хорошо... Я, помнится, это читал... хорошо...

— Скажи мне, пожалуйста, — прибавлял он протяжно и как будто нехотя, — какого ты мнения о Людовике Четырнадцатом?

И Кистер пускался толковать о Людовике XIV. А Лучков слушал, многого не понимал вовсе, иное понимал криво... и наконец решился сделать замечание... Его бросало в пот: «Ну, если я совру?» — думал он. И действительно, врал он часто, но Кистер никогда резко не возражал ему: добрый юноша душевно радовался тому, что вот, дескать, в человеке пробуждается охота к просвещению. Увы! Авдей Иванович расспрашивал Кистера не из охоты к просвещению, а так, бог знает отчего. Может быть, он желал сам удостовериться на деле, какая у него, Лучкова, голова: тупая, что ли, или только необделанная? «А я ведь, в сущности, глуп», — говорил он самому себе не раз с горькой усмешкой и вдруг выпрямлялся весь, нахально и дерзко глядел кругом и злобно улыбался, если замечал, что какой-нибудь товарищ опускал свой взгляд перед его взглядом. «То-то, брат, учёный,

воспитанный... — шептал он сквозь зубы, — не хочешь ли... того?»

Господа офицеры недолго толковали о внезапной дружбе Кистера с Лучковым: они привыкли к странностям бретёра. «Связался же чёрт с младенцем!» — говорили они... Кистер повсюду с жаром выхвалял своего нового приятеля: с ним не спорили, потому, что боялись Лучкова; сам же Лучков никогда при других не упоминал имени Кистера, но перестал знаться с раздушенным адъютантом.

II

Помещики южной России большие охотники давать балы, приглашать к себе на дом гг. офицеров и выдавать своих дочерей замуж. В десяти вёрстах от села Кириллова жил именно такой помещик, некто господин Перекатов, владелец четырёхсот душ и довольно просторного дома. У него была дочь лет восемнадцати, Машенька, и жена, Ненила Макарьевна. Господин Перекатов служил некогда в кавалерии, но по любви к деревенской жизни, по лени вышел в отставку и начал жить себе потихоньку, как живут помещики средней руки. Ненила Макарьевна происходила не совершенно законным образом от знатного московского барина.

Покровитель её воспитывал свою Ненилушку весьма, как говорится, тщательно, в собственном доме, но сбыв её с рук довольно поспешно, по первому востребованию, как ненадежный товар. Ненила Макарьевна была нехороша собой; знатный барин давал за неё всего тысяч десять приданого; она ухватилась за господина Перекатова. Господину Перекатову показалось весьма лестным жениться на барышне воспитанной, умной... ну, да, наконец, всё же состоявшей в родстве с знатным сановником. Сановник этот и после брака оказывал супругам своё покровительство, то есть принимал от них в подарок солёных перепёлок и говорил Перекатову: «ты, братец», а иногда просто: «ты». Ненила Макарьевна совершенно завладела мужем, хозяйничала и распоряжалась всем именем — весьма, впрочем, умно; во всяком случае гораздо лучше самого господина Перекатова. Она не слишком притесняла своего сожителя, но держала его в руках, сама заказывала ему платье и наряжала его по-английски, как оно и прилично помещику; по её приказанию господин Перекатов завёл у себя на подбородке эспаньолку для прикрытия большой бородавки, похожей на переспелую малину; Ненила Макарьевна, с своей стороны, объявила гостям, что муж её играет на флейте и что все флейтисты под нижней губой отпускают себе волосы: ловчее держать инструмент. Господин Перекатов с утра ходил в высоком чистом галстуке, причёсанный и вымытый. Впрочем, он был своей судьбой весьма доволен: обедал всегда очень вкусно, делал что хотел и спал сколько мог. Ненила Макарьевна завела, как говорили соседи, у себя в доме

«иностранный порядок»: держала мало людей, одевала их опрятно. Честолюбие её мучило; она хотела попасть хоть в уездные предводительши, но дворяне ...го уезда хоть и наедались у ней всласть, однако ж всё-таки выбирали не её мужа, а то отставного премьер-майора Буркольца, то отставного секунд-майора Бурундюкова. Господин Перекатов казался им чересчур столичной штучкой.

Дочь господина Перекатова, Машенька, с лица походила на отца. Ненила Макарьевна много хлопотала над её воспитанием. Она хорошо говорила по-французски, играла порядочно на фортепьянах. Она была среднего роста, довольно полна и бела; её несколько пухлое лицо оживлялось доброй, весёлой улыбкой; русые, не слишком густые волосы, карие глазки, приятный голосок всё в ней тихо нравилось, и только. Зато отсутствие жеманства, предрассудков, начитанность, необыкновенная в степной девице, свобода выражений, спокойная простота речей и взглядов невольно в ней поражали. Она развилась на воле; Ненила Макарьевна не стесняла её.

Однажды поутру, часов в двенадцать, всё семейство Перекатовых собралось в гостиную. Муж, в зелёном круглом фраке,^[4] высоком клетчатом галстуке и гороховых панталонах с штиблетами, стоял перед окном и с большим вниманием ловил мух. Дочь сидела за пальцами; её небольшая, полненькая ручка в чёрной митенке грациозно и медленно подымалась и опускалась над канвой. Ненила Макарьевна сидела на диване и молча посматривала на пол.

— Вы послали в ...ий полк приглашение, Сергей Сергеич? — спросила она мужа.

— На сегодняшний вечер? Как же, ма шер, послал. (Ему запрещено было называть её матушкой.) Как же!

— Совсем нет кавалеров, — продолжала Ненила Макарьевна. — Не с кем танцевать барышням.

Муж вздохнул, как будто отсутствие кавалеров его сокрушало.

— Маменька, — заговорила вдруг Маша, — мсьё Лучков приглашён?

— Какой Лучков?

— Он тоже офицер. Он, говорят, очень интересен.

— Как так?

— Да; он собой не хорош и не молод, но его все боятся. Он ужасный дуэлист. (Маменька слегка нахмурила брови.) Я бы очень желала его видеть.

Сергей Сергеевич перебил свою дочку.

— Что тут видеть, душа моя? Ты думаешь, он так и смотрит лордом Байроном? (В то время только что начинали у нас толковать о лорде Байроне.)^[5] Пустяки! Ведь и я, душа моя, в кои-то веки слыл забиякой.

Маша посмотрела с изумлением на родителя, засмеялась, потом вскочила и поцеловала его в щёку. Супруга слегка улыбнулась... а Сергей Сергеич не солгал.

— Не знаю, приедет ли этот господин, — промолвила Ненила Макарьевна. Может быть, и он пожалует. Дочка вздохнула.

— Смотри не влюбись в него, — заметил Сергей Сергеич. — Я знаю, вы все такие теперь... того... восторженные...

— Нет, — простодушно возразила Маша.

Ненила Макарьевна холодно посмотрела на своего мужа. Сергей Сергеич с некоторым замешательством поиграл часовой цепочкой, взял со стола свою английскую, с широкими полями, шляпу и отправился на хозяйство. Его собака робко и смиренно побежала вслед за ним. Как животное умное, она чувствовала, что и сам хозяин ее не слишком властный человек в доме, и вела себя скромно и осторожно.

Ненила Макарьевна подошла к дочери, тихонько подняла ей голову и ласково посмотрела ей в глаза. «Ты мне скажешь, когда ты влюбишься?» — спросила она.

Маша с улыбкой поцеловала руку матери и несколько раз утвердительно покачала головой.

— Смотри же, — заметила Ненила Макарьевна, погладила её по щеке и вышла вслед за мужем. Маша прислонилась к спинке кресел, опустила голову на грудь, скрестила пальцы и долго глядела в окно, прищулив глазки... Лёгкая краска заиграла на свежих её щеках; со вздохом выпрямилась она, принялась было шить, уронила иголку, оперла лицо на руку и, легонько покусывая кончики ногтей, задумалась... потом взглянула на своё плечо, на свою протянутую руку, встала, подошла к зеркалу, усмехнулась, надела, шляпу и пошла в сад.

В тот же вечер, часов в восемь, начали съезжаться гости. Г-жа Перекатова весьма любезно принимала и «занимала» дам, Машенька — девиц; Сергей Сергеич толковал с помещиками о хозяйстве и то и дело взглядывал на жену. Начали появляться молодые франты, нарочно приехавшие попозже офицеры; наконец вошёл сам г-н полковник, в сопровождении своего адъютанта, Кистера и Лучкова. Он представил их хозяйке. Лучков молча поклонился; Кистер пробормотал обычное: «Весьма рад...» Г-н Перекатов подошёл к

полковнику, крепко пожал ему руку и с чувством посмотрел ему в глаза. Полковник немедленно насупился. Начались танцы. Кистер пригласил Машеньку. В то время процветал ещё экосез.^[6]

— Скажите мне, пожалуйста, — сказала ему Маша, когда, проскакав раз двадцать до конца залы, они стали наконец в первые пары, — отчего ваш приятель не танцует?

— Какой приятель?

Маша концом веера указала на Лучкова.

— Он никогда не танцует, — возразил Кистер.

— Зачем же он приехал?

Кистер немного смешался.

— Он желал иметь удовольствие...

Машенька его перебила:

— Вы, кажется, недавно переведены в наш полк?

— В *ваш* полк, — заметил с улыбкой Кистер, — нет, недавно.

— Вы здесь не скучаете?

— Помилуйте... Я здесь нашёл такое приятное общество... а природа!.. — Кистер пустился в описание природы. Маша слушала его, не поднимая головы. Авдей Иванович стоял в углу и равнодушно поглядывал на танцующих.

— Сколько лет господину Лучкову? — спросила она вдруг.

— Лет... лет тридцать пять, я думаю, — возразил Кистер.

— Он, говорят, человек опасный... сердитый, — поспешно прибавила Маша.

— Он немного вспыльчив... но, впрочем, он очень хороший человек.

— Говорят, все его боятся?

Кистер засмеялся.

— А вы?

— Мы с ним приятели.

— В самом деле?

— Вам, вам, вам, — кричали им со всех сторон. Они встрепенулись и пустились опять скакать боком чрез всю залу.

— Ну, поздравляю тебя, — сказал Лучкову Кистер, подходя к нему после танца, — хозяйская дочь то и дело расспрашивала меня о тебе.

— Неужели? — презрительно возразил Лучков.

— Честный человек! А ведь она очень собой хороша; посмотри-ка.

^[7] — А какая из них она?

Кистер указал ему Машу.

— А! недурна! — И Лучков зевнул.

— Холодный человек! — воскликнул Кистер и побежал приглашать другую девицу.

Авдею Ивановичу очень понравилось известие, сообщённое Кистером, хоть он и зевнул, и даже громко зевнул. Возбуждать любопытство — сильно льстило его самолюбию; любовь он презирал — на словах... а внутренне чувствовал сам, что трудно и хлопотно заставить полюбить себя. Трудно и хлопотно заставить полюбить себя; но весьма легко и просто прикидываться равнодушным, молчаливым гордецом. Авдей Иванович был дурён собою и немолод; но зато пользовался страшной славой — и, следовательно, имел право рисоваться. Он привык к горьким и безмолвным наслаждениям угрюмого одиночества; не в первый раз обращал он на себя внимание женщин; иные даже старались сблизиться с ним, но он их отталкивал с ожесточённым упрямством; он знал, что не к лицу ему нежность (в часы свиданий, откровений он становился сперва неловким и пошлым, а потом, с досады, грубым до плоскости, до оскорбления); он помнил, что две-три женщины, с которыми он некогда знался, охладели к нему тотчас после первых мгновений ближайшего знакомства и сами с поспешностью удалились от него... а потому он и решился наконец оставаться загадкой и презирать то, в чём судьба отказала ему... Другого презрения люди вообще, кажется, не знают. Всякое откровенное, произвольное, то есть доброе, проявление страсти не шло к Лучкову; он должен был постоянно сдерживать себя, даже когда злился. Одному Кистеру не становилось гадко, когда Лучков заливался хохотом; глаза доброго немца сверкали благородной радостью сочувствия, когда он читал Авдею любимые страницы из Шиллера, а бретёр сидел перед ним, понутив голову, как волк...

Кистер танцевал до упаду. Лучков не покидал своего уголка, хмурил брови, изредка украдкой взглядывал на Машу — и, встретив её взоры, тотчас придавал глазам своим равнодушное выражение. Маша раза три танцевала с Кистером. Восторженный юноша возбудил её доверенность. Она довольно весело болтала с ним, но на сердце ей было неловко. Лучков занимал её.

Загремела мазурка. Офицеры — пустились подпрыгивать, топтать каблуками и подбрасывать плечами эполеты; статские тоже топали каблуками. Лучков всё не двигался с своего места и медленно следил глазами за мелькающими парами. Кто-то тронул его рукав... он оглянулся; его сосед указывал ему на Машу. Она стояла перед ним, не поднимая глаз, и протягивала ему руку. Лучков сперва посмотрел на неё с недоумением, потом равнодушно снял пальаш, бросил шляпу на

пол, неловко пробрался между кресел, взял Машу за руку — и пошёл вдоль круга, без припрыжек и топаний, как бы нехотя исполняя неприятный долг... У Маши сильно билось сердце.

— Отчего вы не танцуете? — спросила она его наконец.

— Я не охотник, — отвечал Лучков. — Где ваше место?

— Вон там-с.

Лучков довёл Машу до её стула, спокойно поклонился ей, спокойно вернулся в свой угол... но весело в нём шевельнулась желчь.

Кистер пригласил Машу.

— Какой ваш приятель странный!

— А он вас очень занимает... — сказал Фёдор Фёдорович, плутовски прищулив свои голубые и добрые глаза.

— Да... он, должно быть, очень несчастлив.

— Он несчастлив? С чего вы это взяли? — И Фёдор Фёдорович засмеялся.

— Вы не знаете... Вы не знаете... — Маша важно покачала головой.

— Да как же мне не знать?..

Маша опять покачала головой и взглянула на Лучкова. Авдей Иванович заметил этот взгляд, пожал незаметно плечами и вышел в другую комнату.

III

Прошло несколько месяцев с того вечера. Лучков ни разу не был у Перекатовых. Зато Кистер посещал их довольно часто. Ненила Макарьевна его полюбила, но не она привлекала Фёдора Фёдоровича. Маша ему нравилась. Как человек неопытный и невыболтавшийся, он находил большое удовольствие в обмене чувств и мыслей и добродушно верил в возможность возвышенной и спокойной дружбы между молодым человеком и молодой девушкой.

Однажды тройка сытых и резвых лошадок примчала его к дому г-на Перекатова. День был летний, душный и знойный. Нигде ни облака. Синева неба по краям сгущалась до того, что глаз принимал её за грозовую тучу. Дом, построенный г-м Перекатовым на летнее жительство с обыкновенной степной предусмотрительностью, был обращён окнами прямо на солнце. Ненила Макарьевна с утра велела затворить все ставни. Кистер вошёл в гостиную, прохладную и полумрачную. Свет ложился длинными чертами по полу, короткими и частыми полосками по стенам. Семейство Перекатовых ласково встретило Фёдора Фёдоровича. После обеда Ненила Макарьевна отправилась на отдых к себе в спальню; г. Перекатов уместился в гостиной на диване; Маша села подле окна за пяльцы; Кистер против неё. Маша, не раскрывая пялец, слегка приложила к ним грудью и подперла голову руками. Кистер начал ей что-то рассказывать; она слушала его без внимания, как будто ждала чего-то, изредка взглядывала на отца и вдруг протянула руку.

— Послушайте, Фёдор Фёдорович... да только говорите потише... папенька заснул.

Действительно, г-н Перекатов, по обыкновению, заснул, сидя на диване, закинув голову и раскрыв немного рот.

— Что вам угодно? — с любопытством спросил Кистер.

— Вы будете надо мной смеяться.

— Помилуйте!..

Маша опустила голову, так что только верхняя часть её лица осталась не закрытой руками, и вполголоса, не без замешательства, спросила Кистера: отчего он никогда не привезёт с собой г-на Лучкова? Маша не в первый раз упоминала о нём после бала... Кистер

молчал. Маша боязливо выглянула из-за переплетённых пальцев.

— Могу ли я откровенно сказать вам моё мнение? — спросил её Кистер.

— Отчего же нет? разумеется.

— Мне кажется, Лучков произвёл на вас большое впечатление!

— Нет! — отвечала Маша и нагнулась, как бы желая рассмотреть поближе узор; узкая золотая полоска света легла ей на волосы, — нет... но...

— Что но? — проговорил Кистер с улыбкой.

— Вот видите ли, — сказала Маша и приподняла вдруг голову, так что полоска пришлось ей прямо на глаза, — вот видите ли... он...

— Он вас занимает...

— Ну... да... — сказала Маша с расстановкой, покраснела, отвернула немного голову в сторону и в таком положении продолжала говорить, — в нём есть что-то такое... Ведь вот вы смеетесь надо мной, — прибавила она вдруг, быстро взглянув на Фёдора Фёдоровича.

Фёдор Фёдорович улыбался самой кроткой улыбкой.

— Я вам всё говорю, что только мне вздумается, — продолжала Маша, — я знаю, что вы мой... (она хотела было сказать «друг») хороший приятель.

Кистер наклонился. Маша помолчала и робко протянула ему руку; Фёдор Фёдорович почтительно пожал кончики её пальцев.

— Он, должно быть, большой чудак, — заметила Маша и опять облокотилась на пальцы.

— Чудак?

— Конечно; он меня и занимает как чудак! — хитро прибавила Маша.

— Лучков — благородный, замечательный человек, — с важностью возразил Кистер. — Его не знают у нас в полку, не ценят, видят в нём только наружную сторону. Конечно, он ожесточён, странен, нетерпелив, но сердце у него доброе.

Маша жадно слушала Фёдора Фёдоровича.

— Я его привезу к вам. Я скажу ему, что вас бояться нечего, что смешно ему дичиться... Я ему скажу... О! да я уже знаю, что сказать... То есть вы, однако ж, не думайте, чтоб я... — Кистер смешался; Маша тоже смешалась... — Да и, наконец, ведь он только вам так... нравится...

— Ну, конечно, как многие мне нравятся.

Кистер плутовски посмотрел на неё.

— Хорошо, хорошо, — промолвил он с довольным видом, — я вам его привезу...

— Да нет...

— Хорошо, я ж вам говорю, всё будет хорошо... Уж я устрою.

— Какой вы... — с улыбкой заметила Маша и погрозила на него. Г-н Перекатов зевнул и открыл глаза.

— А я, кажется, заснул, — пробормотал он с удивленьем. Этот вопрос и это удивление повторялись каждый день. Маша с Кистером заговорили о Шиллере.

Однако ж Фёдору Фёдоровичу было не совсем ловко; в нём как будто шевельнулась зависть... и он благородно негодовал на себя. Ненила Макарьевна сошла в гостиную. Подали чай. Г-н Перекатов заставил свою собаку прыгнуть несколько раз через палку и объявил потом, что он сам её всему выучил, причём собака учтиво вертела хвостом, облизывалась и моргала. Когда же наконец зной уменьшился и повеял вечерний ветерок, всё семейство Перекатовых отправилось гулять в берёзовую рощу. Фёдор Фёдорович беспрестанно взглядывал на Машу, как бы желая дать ей знать, что он исполнит её поручение; Маше было и на себя досадно, и весело, и жутко. Кистер вдруг, ни с того ни с сего, заговорил довольно высокопарно о любви вообще, о дружбе... но, заметив наблюдательный и ясный взгляд Ненилы Макарьевны, так же внезапно переменял разговор.

Ярко и пышно зарделась заря. Перед берёзовой рощей расстился ровный и широкий луг. Маше вздумалось играть в горелки. Явились горничные, лакеи; г-н Перекатов стал с своей супругой, Кистер с Машей. Горничные бегали с подобострастными и лёгкими криками; камердинер г-на Перекатова осмелился разлучить Ненилу Макарьевну с её супругом; одна горничная почтительно поддалась барину; Фёдор Фёдорович не расставался с Машей. Всякий раз, становясь на своё место, он ей говорил два-три слова; Маша, вся раскрасневшаяся от бега, с улыбкой слушала его, проводила рукой по волосам. После ужина Кистер уехал.

Ночь была тихая, звёздная. Кистер снял фуражку. Он волновался; ему слегка щемило горло. «Да, — сказал он наконец, почти вслух, — она его любит; я сблизу их; я оправдаю её доверенность». Хотя ещё ничто не доказывало явного расположения Маши к Лучкову, хотя, по собственным её словам, он только возбуждал её любопытство, но Кистер успел уже сочинить себе целую повесть, предписать себе свою обязанность. Он решился пожертвовать своим чувством тем более что «пока, кроме искренней привязанности, я ничего ведь не ощущаю», —

думал он. Кистер действительно был в состоянии принести себя в жертву дружеству, признанному долгу. Он много читал и потому воображал себя — опытным и даже проницательным; он не сомневался в истине своих предположений; он не подозревал, что жизнь бесконечно разнообразна и не повторяется никогда. Понемногу Фёдор Фёдорович пришёл в восторг. Он с умилением начал думать о своём призвании. Быть посредником между любящей робкой девушкой и человеком, может быть, только потому ожесточённым, что ему ни разу в жизни не пришлось любить и быть любимым; сблизить их, растолковать им их же собственные чувства и потом удалиться, не дав никому заметить величия своей жертвы, — какое прекрасное дело! Несмотря на прохладу ночи, лицо доброго мечтателя пылало...

На другой день он рано поутру отправился к Лучкову. Авдей Иванович, по обыкновению, лежал на диване и курил трубку. Кистер поздоровался с ним.

— Я был вчера у Перекатовых, — сказал он с некоторою торжественностью.

— А! — равнодушно возразил Лучков и зевнул.

— Да. Они прекрасные люди.

— В самом деле?

— Мы говорили о тебе.

— Много чести; с кем это?

— С стариками... и с дочерью.

— А! с этой... толстенькой?

— Она прекрасная девушка, Лучков.

— Ну да, все они прекрасны.

— Нет, Лучков, ты её не знаешь. Я ещё не встречал такой умной, доброй и чувствительной девицы.

Лучков запел в нос: «В гамбургской газете не ты ли читал, как в прошлом лете Миних побеждал...»^[8]

— Да я ж тебе говорю...

— Ты в неё влюблён, Федя, — насмешливо заметил Лучков.

— Совсем нет. И не думал.

— Федя, ты в неё влюблён!

— Что за вздор! Будто уж нельзя...

— Ты в неё влюблён, друг ты мой сердечный, таракан запечный, — протяжно запел Авдей Иванович.

— Эх, Авдей, как тебе не стыдно! — с досадой проговорил Кистер.

Со всяким другим Лучков тут-то и запел бы пуше прежнего: Кистера он не дразнил.

— Ну, ну, шпрехен зи дейч, Иван Андреич,^[9] — проворчал он вполголоса, — не сердись.

— Послушай, Авдей, — с жаром заговорил Кистер и сел подле него. — Ты знаешь, я тебя люблю. (У Лучкова покривилось лицо.) Но одно мне в тебе, признаюсь, не нравится... именно то, что ты ни с кем знаться не хочешь, всё дома сидишь, всякого сближения с хорошими людьми избегаешь. Ведь наконец есть же хорошие люди! Ну, положим, ты был обманут в жизни, ожесточился, что ли; не бросайся на шею каждому, но почему же тебе всех отвергать? Ведь этак ты и меня, пожалуй, когда-нибудь прогонишь.

Лучков хладнокровно продолжал курить.

— Оттого-то тебя никто и не знает... кроме меня; иной, пожалуй, бог весть что о тебе думает... Авдей! — прибавил Кистер после небольшого молчания, — ты в добродетель не веришь, Авдей?

— Как не верить... верю... — проворчал Лучков. Кистер с чувством пожал ему руку.

— Мне хочется, — продолжал он тронутым голосом, — примирить тебя с жизнью. Ты у меня повеселеешь, расцветёшь... именно расцветёшь. Как я-то буду рад тогда! Только ты мне позволь распоряжаться иногда тобою, твоим временем. У нас сегодня — что? понедельник... завтра вторник... в среду, да, в среду мы с тобой поедem к Перекатовым. Они тебе так рады будут... и мы там весело время проведём... А теперь дай мне трубочку выкурить.

Авдей Иванович недвижно лежал на диване и глядел в потолок. Кистер закурил трубку, подошёл к окну и стал барабанигь пальцами по стёклам.

— Так говорили обо мне? — спросил вдруг Авдей.

— Говорили, — значительно возразил Кистер.

— Что ж такое говорили?

— Ну, уж говорили. Весьма желают с тобой познакомиться.

— Кто же именно?

— Вишь, какой любопытный!

Авдей кликнул слугу и приказал седлать себе лошадь.

— Куда ты?

— В манеж.

— Ну, прощай. Так едем, что ли, к Перекатовым?

— Едем, пожалуй, — лениво проговорил Лучков и потянулся.

— Молодец! — воскликнул Кистер и вышел на улицу, задумался и глубоко вздохнул.

IV

Маша подходила к дверям гостиной, когда доложили о приезде гг. Кистера и Лучкова. Она тотчас вернулась в свою комнату, подошла было к зеркалу... Её сердце сильно билось. Девушка пришла позвать её в гостиную. Маша выпила немного воды, остановилась раза два на лестнице и, наконец, сошла вниз. Г-на Перекатова дома не было. Ненила Макарьевна сидела на диване; Лучков сидел на кресле в мундире, с шляпой на коленях; Кистер возле него. Оба они приподнялись при входе Маши — Кистер с обычной дружелюбной улыбкой, Лучков с торжественным и натянутым видом. Она с смущением поклонилась им и подошла к матери. Первые десять минут прошли благополучно. Маша отдохнула и начала понемногу наблюдать за Лучковым. Он отвечал на расспросы хозяйки коротко, но беспокойно; он робел, как все самолюбивые люди. Ненила Макарьевна предложила гостям погулять по саду, а сама вышла только на балкон. Она не почитала необходимостью не спускать глаз с дочки и ковылять за нею всюду с толстым ридикюлем в руках по примеру многих степных матерей. Прогулка продолжалась довольно долго. Маша говорила больше с Кистером, но не смела взглянуть ни на него, ни на Лучкова. Авдей Иванович с ней не заговаривал; в голосе Кистера заметно было волнение. Он что-то много смеялся и болтал... Они подошли к речке. В сажени от берега росла водяная лилия и словно покоилась на гладкой поверхности воды, устланной широкими и круглыми листьями. — Какой красивый цветок! — заметила Маша. Не успела она выговорить этих слов, как уже Лучков вынул палаш, ухватился одной рукой за тонкие ветки ракиты и, нагнувшись всем телом над водой, сшиб головку цветка. «Здесь глубоко, берегитесь!» — с испугом вскрикнула Маша. Лучков концом палаша пригнал цветок к берегу, к самым её ногам. Она наклонилась, подняла цветок и с нежным, радостным удивлением поглядела на Авдея. «Браво!» — закричал Кистер. «А я не умею плавать...» — отрывисто проговорил Лучков. Это замечание не понравилось Маше. «Зачем он это сказал?» — подумала она.

Лучков с Кистером остались у г-на Перекатова до вечера. Что-то новое, небывалое происходило в душе Маши; задумчивое недоумение

изображалось не раз на лице её. Она как-то двигалась медленнее, не вспыхивала от взглядов матери, — напротив, сама как будто их искала, как будто сама вопрошала её. В продолжение всего вечера Лучков оказывал ей какое-то неловкое внимание; но даже эта неловкость нравилась её невинному тщеславию. Когда ж они оба уехали с обещанием побывать опять на днях, она тихонько пошла в свою комнату и долго, как бы с изумлением, глядела кругом. Ненила Макарьевна пришла к ней, поцеловала и обняла её, по обыкновению. Маша раскрыла губы, хотела было заговорить с матерью — и не сказала ни слова. Она и хотела признаться, да не знала в чём. В ней тихо бродила душа. На ночном столике, в чистом стакане, лежал на воде цветок, сорванный Лучковым. Уж в постели, Маша приподнялась осторожно, оперлась на локоть, и её девственные губы тихо прикоснулись белых и свежих лепестков...

— Ну, что? — спросил на другой день Кистер своего товарища, — нравятся тебе Перекатовы? Прав я был? а? скажи!

Лучков не отвечал.

— Нет, скажи, скажи.

— А право, не знаю.

— Ну полно!

— Эта... как бишь её зовут... Машенька — ничего, недурна.

— Ну, вот видишь... — сказал Кистер и замолчал. Дней через пять Лучков сам предложил Кистеру съездить к Перекатовым. Один он бы к ним не поехал; в отсутствие Фёдора Фёдоровича ему бы пришлось вести разговор, а этого он не умел и избегал по возможности.

Во второй приезд обоих друзей Маша была гораздо развязнее. Она теперь тайне радовалась тому, что не обеспокоила маменьки непрошеным признанием. Авдей перед обедом вызвался сесть на молодую, необъезженную лошадь и, несмотря на её бешеные скачки, укротил её совершенно. Вечером он было расхотелся, пустился шутить и хохотать — и хотя скоро опомнился, однако ж успел произвести мгновенное неприятное впечатление на Машу. Она сама ещё не знала, какое именно чувство в ней возбуждал Лучков, но всё, что в нём ей не нравилось, приписывала она влиянию несчастий, одиночества.

V

Приятели начали часто посещать Перекатовых. Положение Кистера становилось более и более тягостным. Он не раскаивался... нет, но желал по крайней мере сократить время своего искуса. Привязанность его к Маше увеличивалась с каждым днём; она сама к нему благоволила; но быть всё только посредником, наперсником, даже другом — такое тяжёлое, неблагодарное ремесло! Холодно-восторженные люди много толкуют о святости страданий, о блаженстве страданий... но тёплому, простому сердцу Кистера они не доставляли никакого блаженства. Наконец однажды, когда Лучков, уже совсем одетый, зашёл за ним и коляска подъехала к крыльцу, — Фёдор Фёдорович, к изумлению приятеля, объявил ему напрямик, что остаётся дома. Лучков просил, досадовал, сердился... Кистер отговорился головной болью. Лучков отправился один.

Бретёр во многом изменился в последнее время. Товарищей он оставлял в покое, к новичкам не приставал и хотя не расцвёл душою, как предсказал ему Кистер, однако действительно поуспокоился. Его и прежде нельзя было назвать разочарованным человеком — он почти ничего не видал и не испытал, — и потому не диво, что Маша занимала его мысли. Впрочем, сердце его не смягчилось; только желчь в нём угомонилась. Чувства Маши к нему были странного рода. Она почти никогда не глядела ему прямо в лицо; не умела разговаривать с ним... Когда ж им случалось оставаться вдвоём, Маше становилось страх неловко. Она принимала его за человека необыкновенного и робела перед ним, волновалась, воображала, что не понимает его, не заслуживает его доверенности; безотрадно, тяжело — но беспрестанно думала о нём. Напротив, присутствие Кистера облегчало её и располагало к весёлости, хотя не радовало её и не волновало; с ним она могла болтать по часам, опираясь на руку его, как на руку брата, дружелюбно глядела ему в глаза, смеялась от его смеха — и редко вспоминала о нём. В Лучкове было что-то загадочное для молодой девушки: она чувствовала, что душа его темна, «как лес», и силилась проникнуть в этот таинственный мрак... Так точно дети долго смотрят в глубокий колодезь, пока разглядят наконец на самом дне неподвижную, чёрную воду.

При входе Лучкова, одного, в гостиную Маша сперва испугалась... но потом обрадовалась. Ей уже не раз казалось, что между Лучковым и ею существует какое-то недоразумение, что он до сих пор не имел случая высказаться. Лучков сообщил причину отсутствия Кистера; старики изъявили своё сожаление; но Маша с недоверчивостию глядела на Авдея и томила ожиданием. После обеда они остались одни; Маша не знала, что сказать, села за фортепьяно; пальцы её торопливо и трепетно забегали по клавишам; она беспрестанно останавливалась и ждала первого слова... Лучков не понимал и не любил музыки. Маша заговорила с ним о Россини (Россини только что входил тогда в моду),^[10] о Моцарте... Авдей Иванович отвечал: «да-с, нет-с, как же-с, прекрасно», — и только. Маша заиграла блестящие вариации на россиниевскую тему.^[11] Лучков слушал, слушал... и когда наконец она обратилась к нему, лицо его выражало такую нелегкую скуку, что Маша тотчас же вскочила и захлопнула фортепьяно. Она подошла к окну и долго глядела в сад; Лучков не трогался с места и всё молчал. Нетерпение начинало сменять робость в душе Маши. «Что ж? — думала она, — не хочешь... или не можешь?» Очередь робеть была за Лучковым. Он ощущал опять обычную томительную неуверенность: он уже злился!.. «Чёрт же меня дернул связаться с девчонкой», — бормотал он про себя... А между тем как легко было в это мгновение тронуть сердце Маши! Что бы ни сказал такой необыкновенный, хотя и странный человек, каким она воображала Лучкова, — она бы всё поняла, всё извинила, всему бы поверила... Но это тяжёлое, глупое молчание! Слезы досады навертывались у ней на глаза. «Если он не хочет объясниться, если я точно не стою его доверенности, зачем же ездит он к нам? Или, может быть, я не умею заставить его высказаться?..» И она быстро обернулась и так вопросительно, так настойчиво взглянула на него, что он не мог не понять её взгляда, не мог долее молчать...

— Марья Сергеевна, — произнёс он, запинаясь, — я... у меня... я вам должен что-то сказать...

— Говорите, — быстро возразила Маша.

Лучков нерешительно посмотрел кругом.

— Я теперь не могу...

— Отчего же?

— Я бы желал поговорить с вами... наедине...

— Мы и теперь одни.

— Да... но... здесь в доме.

Маша смутилась... «Если я откажу ему, — подумала она, — всё

кончено...» Любопытство погубило Еву...

— Я согласна, — сказала она наконец.

— Когда же? Где?

Маша дышала быстро и неровно.

— Завтра... вечером. Вы знаете рощицу над Долгим лугом?..

— За мельницей? Маша кивнула головой.

— В котором часу?

— Ждите...

Больше она не могла ничего выговорить; голос её перервался... она побледнела и проворно вышла из комнаты.

Через четверть часа г-н Перекатов, с свойственной ему любезностью, провожал Лучкова до передней, с чувством жал ему руку и просил «не забывать»; потом, отпустив гостя, с важностью заметил человеку, что не худо бы ему остричься, — и, не дождавшись ответа, с озабоченным видом вернулся к себе в комнату, с тем же озабоченным видом присел на диван и тотчас же невинно заснул.

— Ты что-то бледна сегодня, — говорила Ненила Макарьевна своей дочери вечером того же дня. — Здорова ли ты?

— Я здорова, маменька.

Ненила Макарьевна поправила у ней на шее косынку.

— Ты очень бледна; посмотри на меня, — продолжала она с той материнской заботливостью, в которой всё-таки слышится родительская власть, — ну, вот и глаза твои невеселы. Ты нездорова, Маша.

— У меня голова немного болит, — сказала Маша, чтоб как-нибудь отделаться.

— Ну вот, я знала, — Ненила Макарьевна положила ладонь ко лбу Маши, — однако жару в тебе нет.

Маша нагнулась и подняла с полу какую-то нитку.

Руки Ненилы Макарьевны тихо легли вокруг тонкого стана Маши.

— Ты что-то как будто бы мне сказать хочешь, — ласково проговорила она, не распуская рук.

Маша внутренне вздрогнула.

— Я? нет, маменька.

Мгновенное смущение Маши не ускользнуло от родительского внимания.

— Право, хочешь... Подумай-ка. Но Маша успела оправиться и вместо ответа со смехом поцеловала руку матери.

— И будто нечего тебе сказать мне?

— Ну право же, нечего.

— Я тебе верю, — возразила Ненила Макарьевна после непродолжительного молчания. — Я знаю, у тебя нет ничего от меня скрытного... Не правда ли?

— Конечно, маменька.

Маша, однако ж, не могла не покраснеть немного.

— И хорошо делаешь. Грешно было бы тебе скрываться от меня... Ты ведь знаешь, как я тебя люблю, Маша.

— О да, маменька!

И Маша прижалась к ней.

— Ну, полно, довольно. (Ненила Макарьевна прошла по комнате.) Ну, скажи же мне, — продолжала она голосом человека, который чувствует, что вопрос его не имеет никакого особенного значения, — о чём ты сегодня разговаривала с Авдеем Ивановичем?

— С Авдеем Ивановичем? — спокойно повторила Маша. — Да так, обо всём...

— Что, он тебе нравится?

— Как же, нравится.

— А помнишь, как ты желала с ним познакомиться, как волновалась?

Маша отвернулась и засмеялась.

— Какой он странный! — добродушно заметила Ненила Макарьевна.

Маша хотела было заступиться за Лучкова, да прикусила язычок.

— Да, конечно, — проговорила она довольно небрежно, — он чудак, но всё же он хороший человек!

— О да!.. Что Фёдор Фёдорыч не приехал?

— Видно, нездоров. Ах, да! кстати: Фёдор Фёдорыч хотел мне подарить собачку... Ты мне позволишь?

— Что? принять его подарок?

— Да.

— Разумеется.

— Ну, благодарствуй, — сказала Маша, — вот благодарствуй!

Ненила Макарьевна дошла до двери и вдруг вернулась назад.

— А помнишь ты своё обещание, Маша?

— Какое?

— Ты мне хотела сказать, когда влюбишься.

— Помню.

— Ну, что ж?.. Ещё не время? (Маша звонко рассмеялась.) Посмотри-ка мне в глаза.

Маша ясно и смело взглянула на свою мать.

«Не может быть! — подумала Ненила Макарьевна и успокоилась. — Где ей меня обмануть!.. И с чего я взяла?.. Она ещё совершенный ребёнок...»

Она ушла...

«А ведь это грех», — подумала Маша.

VI

Кистер лёг уже спать, когда Лучков вошёл к нему в комнату. Лицо бретёра никогда не выражало *одного* чувства; так и теперь: притворное равнодушие, грубая радость, сознание своего превосходства... множество различных чувств разыгрывалось в его чертах.

— Ну, что? ну, что? — торопливо спросил его Кистер.

— Ну, что! Был. Тебе кланяются.

— Что? они все здоровы?

— Что им делается!

— Спрашивали, отчего я не приехал?

— Спрашивали, кажется.

Лучков поглядел в потолок и запел фальшиво. Кистер опустил глаза и задумался.

— А ведь вот, — хриплым и резким голосом промолвил Лучков, — вот ты умный человек, ты учёный человек, а ведь тоже иногда, с позволения сказать, дичь порешь.

— А что?

— А вот что. Например, насчёт женщин. Ведь уж как ты их превозносишь! Стихи о них читаешь! Все они у тебя ангелы... Хороши ангелы!

— Я женщин люблю и уважаю, но...

— Ну, конечно, конечно, — перебил его Авдей. — Я ведь с тобой не спору. Где мне! Я, разумеется, человек простой.

— Я хотел сказать, что... Однако почему ты именно, сегодня... именно теперь... заговорил о женщинах?

— Так! — Авдей значительно улыбнулся. — Так!

Кистер пронзительно поглядел на своего приятеля. Он подумал (чистая душа!), что Маша дурно с ним обошлась; пожалуй, помучила его, как одни женщины умеют мучить...

— Ты огорчён, мой бедный Авдей; признайся...

Лучков расхохотался,

— Ну, огорчаться мне, кажется, нечем, — промолвил он с расстановкой, самодовольно разглаживая усы. — Нет, вот видишь ли что, Федя, — продолжал он тоном наставника, — я хотел тебе только заметить, что ты насчёт женщин ошибаешься, друг мой. Поверь мне,

Федя, они все на одну статью. Стоит похлопотать немного, повертеться около них — и дело в шляпе. Вот хоть бы Маша Перекатова...

— Ну!

Лучков постучал ногой об пол и покачал головой.

— Кажется, что во мне такого особенного и привлекательного, а? Кажется, ничего. Ведь ничего? А вот завтра мне назначено свиданье.

Кистер приподнялся, опёрся на локоть и с изумлением посмотрел на Лучкова.

— Вечером, в роще... — спокойно продолжал Авдей Иванович. — Но ты не думай чего-нибудь такого. Я только так. Знаешь — скучно. Девочка хорошенькая... ну, думаю, что за беда? Жениться-то я не женюсь... а так, тряхну стариной. Бабиться не люблю — а девчонку потешить можно. Вместе послушаем соловьев. Это — по-настоящему, твоё дело; да, вишь, у этого бабья глаз нету. Что я, кажись, перед тобой?

Лучков говорил долго. Но Кистер его не слушал. У него голова пошла кругом. Он бледнел и проводил рукою по лицу. Лучков покачивался в креслах, жмурился, потягивался — и, приписывая ревности волнение Кистера, чуть не задыхался от удовольствия. Но Кистера мучила не ревность: он был оскорблён не самим признанием, но грубой небрежностью Авдея, его равнодушным и презрительным отзывом о Маше. Он продолжал пристально глядеть на бретёра — и, казалось, в первый раз хорошенько рассмотрел его черты. Так вот из чего хлопотал он! Вот для чего жертвовал собственной наклонностью! Вот оно, благодатное действие любви!

— Авдей... разве ты её не любишь? — пробормотал он наконец.

— О невинность! о Аркадия! — с злобным хохотом возразил Авдей.

Добрый Кистер и тут не поддался: «Может быть, — думал он, — Авдей злится и „ломается“ по привычке... он не нашёл ещё новых слов для выражения новых ощущений. Да и в нём самом — в Кистере — не скрывается ли другое чувство под негодованием? Не оттого ли так неприятно поразило его признание Лучкова, что дело касалось Маши? Почему знать, может быть. Лучков действительно в неё влюблён... Но нет! нет! тысячу раз нет! Этот человек влюблён?.. Гадок этот человек с своим желчным и жёлтым лицом, с своими судорожными и кошачьими движениями, с приподнятым от радости горлом... гадок! Нет, не такими словами высказал бы Кистер преданному другу тайну любви своей... В избытке счастья, с немим восторгом, с светлыми, обильными слезами на глазах прижался бы он к его груди...»

— Что, брат? — говорил Авдей, — не ожидал, признайся? и теперь самому досадно? а? завидно? признайся, Федя! а? а? Ведь из-под носу подтибрил у тебя девчонку!

Кистер хотел было высказаться, но отвернулся лицом к стене. «Объяснять... перед ним? Ни за что! — шептал он про себя. — Он меня не понимает... пусть! Он предполагает во мне одни дурные чувства — пусть!..»

Авдей встал.

— Я вижу, ты спать хочешь, — проговорил он с притворным участием, — я тебе не хочу мешать. Спи спокойно, друг мой... спи!

И Лучков вышел, весьма довольный собою.

Кистер не мог заснуть до зари. Он с лихорадочным упрямством перевёртывал и передумывал одну и ту же мысль — занятие, слишком известное несчастным любовникам; оно действует на душу, как мехи на тлеющий уголь.

«Если даже, — думал он, — Лучков к ней равнодушен, если она сама бросилась ему на шею, всё-таки не должен он был даже со мной, с своим другом, так непочтительно, так обидно говорить о ней! Чем она виновата? Как не пожалеть бедной, неопытной девушки?

Но неужели она ему назначила свидание? Назначила — точно назначила. Авдей не лжёт; он никогда не лжёт. Но, может быть, это в ней так, одна фантазия...

Но она его не знает... Он в состоянии, пожалуй, оскорбить её. После сегодняшнего дня я ни за что не отвечаю... А не сами ли вы, господин Кистер, его расхваливали и превозносили? Не сами ли вы возбудили её любопытство?.. Но кто ж это знал? Кто это мог предвидеть?..

Что предвидеть? Давно ли он перестал быть моим другом?.. Да полно, был ли он когда моим другом? Какое разочарование! Какой урок!»

Всё прошедшее вихрем крутилось перед глазами Кистера. «Да, я его любил, — прошептал он наконец. — Отчего же я разлюбил его? Так скоро?.. Да разлюбил ли я его? Нет, отчего полюбил я его? Я один?»

Любящее сердце Кистера оттого именно и привязалось к Авдею, что все другие его чуждались. Но добрый молодой человек не знал сам, как велика его доброта.

«Мой долг, — продолжал он, — предупредить Марью Сергеевну. Но как? Какое право имею я вмешиваться в чужие дела, в чужую любовь? Почему я знаю, какого рода эта любовь? Может быть, и в

самом Лучкове...» — Нет! нет! — говорил он вслух, с досадой, почти со слезами, поправляя подушки, — этот человек камень...

— Я сам виноват... я потерял друга... Хорош друг! Хороша и она!.. Какой я гадкий эгоист! — Нет, нет!! от глубины души желаю им счастья... Счастья! да он смеётся над ней!.. И зачем он себе усы красит? Уж, право, кажется... Ах, как я смешон! — твердил он засыпая.

VII

На другой день, утром, Кистер поехал к Перекатовым. При свидании — и Кистер заметил большую перемену в Маше, и Маша нашла в нём перемену; но промолчали оба. Всё утро им было, против обыкновения, неловко. Дома Кистер приготовил было множество двусмысленных речей и намёков, дружеских советов... но все эти приготовления оказались совершенно бесполезными. Маша смутно чувствовала, что Кистер за ней наблюдает; ей казалось, что он с намерением значительно произносит иные слова; но она также чувствовала в себе волнение и не верила своим наблюдениям. «Как бы он не вздумал остаться до вечера!» — беспрестанно думала она и старалась дать ему понять, что он лишний. С своей стороны, Кистер принимал её неловкость, её тревогу за очевидные признаки любви, и чем более он за неё боялся, тем менее решался говорить о Лучкове; а Маша упорно молчала о нём. Тяжело было бедному Фёдору Фёдоровичу. Он начинал наконец понимать собственные чувства. Никогда Маша ему не казалась милей. Она, видимо, не спала во всю ночь. Лёгкий румянец пятнами выступал на её бледном лице; стан слегка сгибался, невольная томная улыбка не сходила с губ; изредка пробегала дрожь по её побледневшим плечам; взгляды тихо разгорались и быстро погасали... Ненила Макарьевна подсела к ним и, может быть, с намерением упомянула об Авдее Ивановиче. Но Маша в присутствии матери вооружилась *jusqu'aux dents*,^[12] как говорят французы, и не выдала, себя нисколько. Так прошло всё утро.

— Вы обедаете у нас? — спросила Ненила Макарьевна Кистера.

Маша отвернулась.

— Нет, — поспешно произнёс Кистер и взглянул на Машу. — Вы меня извините... обязанности службы...

Ненила Макарьевна изъявила своё сожаление, как водится; вслед за ней изъявил что-то г. Перекатов. «Я никому не хочу мешать, — хотел сказать Кистер Маше, проходя мимо, но вместо того наклонился, шепнул: — Будьте счастливы... прощайте... берегитесь..» — и скрылся.

Маша вздохнула от глубины души, а потом испугалась его отъезда. Что ж её мучило? любовь или любопытство? Бог знает; но, повторяем,

одного любопытства достаточно было, чтобы погубить Еву.

VIII

Долгим лугом называлась широкая и ровная поляна на правой стороне речки Снежинки,^[13] в версте от имения гг. Перекатовых. Левый берег, весь покрытый молодым густым дубняком, круто возвышался над речкой, почти заросшей лозняками, исключая небольших «заводей», пристанища диких уток. В полуверсте от речки, по правую же сторону Долгого луга, начинались покатые, волнистые холмы, редко усеянные старыми берёзами, кустами орешника и калины.

Солнце садилось. Мельница шумела и стучала вдали, то громче, то тише, смотря по ветру. Господский табун лениво бродил по лугу; пастух шёл, напевая, за стадом жадных и пугливых овец; сторожевые собаки со скуки гнались за воронами. По роще ходил, скрестя руки, Лучков. Его привязанная лошадь уже не раз отозвалась нетерпеливо на звонкое ржание жеребят и кобыл. Авдей злился и робел, по обыкновению. Ещё не уверенный в любви Маши, он уже сердился на неё, досадовал на себя... но волнение в нём заглушало досаду. Он остановился наконец перед широким кустом орешника и начал хлыстиком сбивать крайние листья...

Ему послышался лёгкий шум... он поднял голову... В десяти шагах от него стояла Маша, вся раскрасневшаяся от быстрой ходьбы, в шляпке, но без перчаток, в белом платье, с наскоро завязанным платочком на шее. Она проворно опустила глаза и тихо покачнулась...

Авдей неловко и с натянутой улыбкой подошёл к ней.

— Как я счастлив... — начал было он едва внятно.

— Я очень рада... вас встретить... — задыхаясь, перебила его Маша. — Я обыкновенно гуляю здесь по вечерам... и вы...

Но Лучков не умел даже пощадить её стыдливости, поддержать её невинную ложь.

— Кажется, Марья Сергеевна, — промолвил он с достоинством, — вам самим угодно было...

— Да... да... — торопливо возразила Маша. — Вы желали меня видеть, вы хотели... — Голос её замер. Лучков молчал. Маша робко подняла глаза.

— Извините меня, — начал он, не глядя на неё, — я человек

простой и не привык объясняться... с дамами... Я... я желал вам сказать... но, кажется, вы не расположены меня слушать...

— Говорите...

— Вы приказываете... Ну, так скажу вам откровенно, что уже давно, с тех пор как я имел честь с вами познакомиться...

Авдей остановился. Маша ждала конца речи.

— Впрочем, я не знаю, для чего это всё вам говорю... Своей судьбы не переменишь...

— Почему знать...

— Я знаю! — мрачно возразил Авдей. — Я привык встречать её удары!

Маше показалось, что теперь по крайней мере не следовало Лучкову жаловаться на судьбу.

— Есть добрые люди на свете, — с улыбкой заметила она, — даже слишком добрые...

— Я понимаю вас, Марья Сергеевна, и, поверьте, умею ценить ваше расположение... Я... я... Вы не рассердитесь?

— Нет... Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать... что вы мне нравитесь... Марья Сергеевна, чрезвычайно нравитесь...

— Я очень вам благодарна, — с смущением перебила его Маша; сердце её сжалось от ожидания и страха. — Ах, посмотрите, господин Лучков, — продолжала она, — посмотрите, какой вид!

Она указала ему на луг, весь испещрённый длинными, вечерними тенями, весь алеющий на солнце.

Внутренне обрадованный внезапной переменой разговора, Лучков начал «любоваться» видом. Он стал подле Маши...

— Вы любите природу? — спросила она вдруг, быстро повернув головку и взглянув на него тем дружелюбным, любопытным и мягким взглядом, который, как звенящий голосок, даётся только молодым девушкам.

— Да... природа... конечно... — пробормотал Авдей. — Конечно... вечером приятно гулять, хотя, признаться, я солдат, и нежности не по моей части.

Лучков часто повторял, что он «солдат». Настало небольшое молчание. Маша продолжала глядеть на луг.

«Не уйти ли? — подумал Авдей. — Вот вздор! Смелей!..» — Марья Сергеевна... — заговорил он довольно твёрдым голосом.

Маша обернулась к нему.

— Извините меня, — начал он как бы шутя, — но позвольте, с

моей стороны, узнать, что вы думаете обо мне, чувствуете ли какое-нибудь... этакое... расположение к моей особе?

«Боже мой, как он неловок!» — сказала про себя Маша. — Знаете ли вы, господин Лучков, — отвечала она ему с улыбкой, — что не всегда легко дать решительный ответ на решительный вопрос?

— Однако...

— Да на что вам?

— Да я, помилуйте, желаю знать...

— Но... Правда ли, что вы большой дуэлист? Скажите, правда ли, промолвила Маша с робким любопытством, — говорят, вы уже не одного человека убили?

— Случалось, — равнодушно возразил Авдей и погладил усы.

Маша пристально посмотрела на него.

— Вот этой рукой... — прошептала она.

Между тем кровь разгорелась в Лучкове. Уже более четверти часа молодая хорошенькая девушка вертелась перед ним...

— Марья Сергеевна, — заговорил он опять резким и странным голосом, — вы теперь знаете мои чувства, знаете, зачем я желал вас видеть... Вы были столько добры... Скажите же и вы мне наконец, чего я могу надеяться...

Маша вертела в руках полевую гвоздику... Она взглянула сбоку на Лучкова, покраснела, улыбнулась, сказала: «Какие вы пустяки говорите», — и подала ему цветок.

Авдей схватил её за руку.

— Итак, вы меня любите! — воскликнул он.

Маша вся похолодела от испуга. Она не думала признаваться Авдею в любви; она сама ещё наверное не знала, любит ли она его, и вот уж он её предупреждает, насильно заставляет высказаться — стало быть, он её не понимает... Эта мысль быстрее молнии сверкнула в голове Маши. Она никак не ожидала такой скорой развязки... Маша, как любопытный ребёнок, целый день себя спрашивала: «Неужели Лучков меня любит?», — мечтала о приятной вечерней прогулке, почтительных и нежных речах, мысленно кокетничала, приучала к себе дикаря, позволяла при прощанье поцеловать свою руку... и вместо того...

Вместо того она вдруг почувствовала у себя на щеке жёсткие усы Авдея...

— Будемте счастливы, — шептал он, — ведь только есть одно счастье на земле!..

Маша вздрогнула, с ужасом отбежала в сторону и, вся бледная,

остановилась, опираясь рукой о берёзу. Авдей смешался страшно.

— Извините меня, — бормотал он, подвигаясь к ней, — я, право, не думал...

Маша молча, во все глаза, глядела на него... Неприятная улыбка кривила его губы... красные пятна выступили на его лице...

— Чего же вы боитесь? — продолжал он, — велика важность? Ведь между нами уже всё... того...

Маша молчала.

— Ну, полноте!.. что за глупости? это только так...

Лучков протянул к ней руку...

Маша вспомнила Кистера, его «берегитесь», замерла от страха и довольно визгливым голосом закричала:

— Танюша!

Из-за орехового куста вынырнуло круглое лицо горничной... Авдей потерялся совершенно. Успокоенная присутствием своей прислужницы, Маша не тронулась с места. Но бретёр весь затрепетал от прилива злости, глаза его съёжились; он стиснул кулаки и судорожно захохотал.

— Bravo! bravo! Умно — нечего сказать! — закричал он.

Маша остоленела.

— Вы, я вижу, приняли все меры предосторожности, Марья Сергеевна? Осторожность никогда не мешает. Каково? В наше время барышни дальновиднее стариков. Вот тебе и любовь!

— Я не знаю, господин Лучков, кто вам дал право говорить о любви... о какой любви?

— Как кто? Да вы сами! — перебил её Лучков, — вот ещё! — Он чувствовал, что портит всё дело, но не мог удержаться.

— Я поступила необдуманно, — проговорила Маша. — Я снизошла на вашу просьбу в надежде на вашу *délicatesse*... да вы не понимаете по-французски, на вашу вежливость...

Авдей побледнел. Маша поразила его в самое сердце.

— Я не понимаю по-французски... может быть; но я понимаю... я понимаю, что вам угодно было смеяться надо мной...

— Совсем нет, Авдей Иваныч... я даже очень сожалею...

— Уж, пожалуйста, не толкуйте о вашем сожалении, — с запальчивостью перебил её Авдей, — уж от этого-то вы меня избавьте!

— Господин Лучков...

— Да не извольте смотреть герцогиней... Напрасный труд! меня вы не запугаете.

Маша отступила шаг назад, быстро повернулась и пошла прочь.

— Прикажете вам прислать вашего друга, вашего пастушка, чувствительного Сердечкина, Кистера? — закричал ей вслед Авдей. Он терял голову. — Уж не этот ли приятель?..

Маша не отвечала ему и поспешно, радостно удалялась. Ей было легко, несмотря на испуг и волнение. Она как будто пробудилась от тяжёлого сна, из тёмной комнаты вышла на воздух и солнце... Авдей как иступлённый посмотрел кругом, с молчаливым бешенством сломал молодое деревцо, вскочил на лошадь и так яростно вонзал в неё шпоры, так безжалостно дергал и крутил поводья, что несчастное животное, проскакав восемь вёрст в четверть часа, едва не издохло в ту же ночь...

Кистер напрасно до полуночи прождал Лучкова и на другой день утром сам отправился к нему. Денщик доложил Фёдору Фёдоровичу, что барин-де почивает и не велел никого принимать. «И меня не велел?» — «И ваше благородие не велел». Кистер с мучительным беспокойством прошёлся раза два по улице, вернулся домой. Человек ему подал записку.

— От кого?

— От Перекатовых-с. Артёмка-фалетор привёз.

У Кистера задрожали руки.

— Приказали кланяться. Приказали ответа просить-с. Артёмке прикажете дать водки-с?

Кистер медленно развернул записочку и прочёл следующее:

«Любезный, добрый Фёдор Фёдорович!

Мне очень, *очень* нужно вас видеть. Приезжайте, если можете, сегодня. Не откажите мне в моей просьбе, прошу вас именем нашей старинной дружбы. Если б вы знали... да вы всё узнаете. До свидания — не правда ли?

Marie.

Р. S. Непременно приезжайте сегодня».

— Так прикажете-с Артёмке-фалетору поднести водки? Кистер долго, с изумлением посмотрел в лицо своему человеку и вышел, не сказав ни слова.

— Барин приказал тебе водки поднести и мне приказал с тобой выпить, — говорил Кистеров человек Артёмке-фалетору.

IX

Маша с таким ясным и благодарным лицом пошла навстречу Кистеру, когда он вошёл в гостиную, так дружелюбно и крепко стиснула ему руку, что у него сердце забилося от радости и камень свалился с груди. Впрочем, Маша не сказала ему ни слова и тотчас вышла из комнаты. Сергей Сергеевич сидел на диване и раскладывал пасьянс. Начался разговор. Не успел ещё Сергей Сергеевич с обычным искусством навести стороною речь на свою собаку, как уже Маша возвратилась с шёлковым клетчатым поясом на платье, любимым поясом Кистера. Явилась Ненила Макарьевна и дружелюбно приветствовала Фёдора Фёдоровича. За обедом все смеялись и шутили; сам Сергей Сергеевич одушевился и рассказал одну из самых весёлых проказ своей молодости, — причём он, как страус, прятал голову от жены.

— Пойдёмте гулять, Фёдор Фёдорович, — сказала Кистеру Маша после обеда с той ласковою властью в голосе, которая как будто знает, что вам весело ей покориться. — Мне нужно переговорить с вами о важном, важном деле, — прибавила она с грациозною торжественностью, надевая шведские перчатки. — Пойдешь ты с нами, папан?

— Нет, — возразила Ненила Макарьевна.

— Да мы не в сад идём.

— А куда же?

— В Долгий луг, в рощу.

— Возьми с собой Танюшу.

— Танюша, Танюша! — звонко крикнула Маша, легче птицы выпорхнув из комнаты.

Через четверть часа Маша шла с Кистером к Долгому лугу. Проходя мимо стада, она покормила хлебом свою любимую корову, погладила её по голове и Кистера заставила приласкать её. Маша была весела и болтала много. Кистер охотно вторил ей, хотя с нетерпением ждал объяснений... Танюша шла сзади в почтительном отдалении и лишь изредка лукаво взглядывала на барышню.

— Вы на меня не сердитесь, Фёдор Фёдорович? — спросила Маша.

— На вас, Марья Сергеевна? Помилуйте, за что?

— А третьего дня... помните?

— Вы были не в духе... вот и всё.

— Зачем мы идём розно? давайте мне вашу руку. Вот так... И вы были не в духе.

— И я.

— Но сегодня я в духе, не правда ли?

— Да, кажется, сегодня...

— И знаете, отчего? Оттого, что... — Маша важно покачала головой. — Ну, уж я знаю отчего... Оттого, что я с вами, — прибавила она, не глядя на Кистера.

Кистер тихонько пожал её руку.

— А что ж вы меня не спрашиваете?... — вполголоса проговорила Маша.

— О чём?

— Ну, не притворяйтесь... о моём письме.

— Я ждал...

— Вот оттого мне и весело с вами, — с живостию перебила его Маша, — оттого, что вы добрый, нежный человек, оттого, что вы не в состоянии... *parce que vous avez de la délicatesse.*^[14] Вам это можно сказать: вы понимаете по-французски.

Кистер понимал по-французски, но решительно не понимал Маши.

— Сорвите мне этот цветок, вот этот... какой хорошенький! — Маша полюбовалась им и вдруг, быстро высвободив свою руку, с заботливой улыбкой начала осторожно вдевать гибкий стебелек в петлю Кистерова сюртука. Её тонкие пальцы почти касались его губ. Он посмотрел на эти пальцы, потом на неё. Она кивнула головой, как бы говоря: можно... Кистер нагнулся и поцеловал кончики её перчаток.

Между тем они приблизились к знакомой роще. Маша вдруг стала задумчивее и наконец замолчала совершенно. Они пришли на то самое место, где ожидал её Лучков. Измятая трава ещё не успела приподняться; сломанное деревцо уже успело завянуть, листочки уже начинали свертываться в трубочки и сохнуть. Маша посмотрела кругом и вдруг обратилась к Кистеру:

— Знаете ли вы, зачем я вас привела сюда?

— Нет, не знаю.

— Не знаете?... Отчего вы мне ничего не сказали сегодня о вашем приятеле, господине Лучкове? Вы всегда его так хвалите...

Кистер опустил глаза и замолчал.

— Знаете ли, — не без усилия произнесла Маша, — что я ему

назначила вчера... здесь... свиданье?

— Я это знал, — глухо возразил Кистер.

— Знали?... А! теперь я понимаю, почему третьего дня... Господин Лучков, видно, поспешил похвастаться своей победой.

Кистер хотел было ответить...

— Не говорите, не возражайте мне ничего... Я знаю — он ваш друг; вы в состоянии его защищать. Вы знали, Кистер, знали... Как же вы не помешали мне сделать такую глупость? Как вы не выдрали меня за уши, как ребёнка? Вы знали... и вам было всё равно?

— Но какое право имел я...

— Какое право!.. право друга. Но и он ваш друг... Мне совестно, Кистер... Он ваш друг... Этот человек обошёлся со мной вчера так...

Маша отвернулась. Глаза Кистера вспыхнули: он побледнел.

— Ну, полноте, не сердитесь... Слышите, Фёдор Фёдорович, не сердитесь. Всё к лучшему. Я очень рада вчерашнему объяснению... именно объяснению, — прибавила Маша. — Для чего, вы думаете, я заговорила с вами об этом? Для того чтоб пожаловаться на господина Лучкова? Полноте! Я забыла о нём. Но я виновата перед вами, мой добрый друг... Я хочу объясниться, попросить вашего прощенья... вашего совета. Вы приучили меня к откровенности; мне легко с вами... Вы не какой-нибудь господин Лучков!

— Лучков неловок и груб, — с трудом выговорил Кистер, — но...

— Что *но*? Как вам не стыдно говорить: *но*? Он груб, *и* неловок, *и* зол, *и* самолюбив... Слышите: *и*, а не *но*.

— Вы говорите под влиянием гнева, Марья Сергеевна, — грустно промолвил Кистер.

— Гнева? Какого гнева? Посмотрите на меня: разве так гневаются? Послушайте, — продолжала Маша, — думайте обо мне, что вам угодно... но если вы воображаете, что я сегодня кокетничаю с вами из мести, то... то... — слёзы навернулись у ней на глазах, — я рассержусь не шутя.

— Будьте со мной откровенны, Марья Сергеевна...

— О глупый человек! О недогадливый! Да взгляните на меня, разве я не откровенна с вами, разве вы не видите меня насквозь?

— Ну, хорошо... да; я верю вам, — с улыбкой продолжал Кистер, видя, с какой заботливой настойчивостью она ловила его взгляд, — ну, скажите же мне, что вас побудило назначить свидание Лучкову?

— Что? сама не знаю. Он хотел говорить со мной наедине. Мне казалось, что он всё ещё не имел время, случая высказаться. Теперь он высказался! Послушайте: он, может быть, необыкновенный человек,

но он — глуп, право... Он двух слов сказать не умеет. Он просто невежлив. Впрочем, я даже не очень его виню... он мог подумать, что я ветреная, сумасшедшая девчонка. Я с ним почти никогда не говорила... Он точно возбуждал моё любопытство, но я воображала, что человек, который заслуживает быть вашим другом...

— Не говорите, пожалуйста, о нём как о моём друге, — перебил её Кистер.

— Нет! нет, я не хочу вас рассорить.

— О боже мой, я для вас готов пожертвовать не только другом, но и... Между мной и господином Лучковым всё кончено! — поспешно прибавил Кистер.

Маша пристально взглянула ему в лицо.

— Ну, бог с ним! — сказала она. — Не станемте говорить о нём. Мне вперёд урок. Я сама виновата. В течение нескольких месяцев я почти каждый день видела человека доброго, умного, весёлого, ласкового, который... — Маша смешалась и замешкалась, — который, кажется, меня тоже... немного... жаловал... и я, глупая, — быстро продолжала она, — предпочла ему... нет, нет, не предпочла, а...

Она потупила голову и с смущением замолчала. Кистеру становилось страшно. «Быть не может!» — твердил он про себя.

— Марья Сергеевна! — заговорил он наконец.

Маша подняла голову и остановила на нём глаза, отягчённые непролитыми слезами.

— Вы не угадываете, о ком я говорю? — спросила она.

Едва дыша, Кистер протянул руку. Маша тотчас с жаром схватилась за неё.

— Вы мой друг по-прежнему, не правда ли?.. Что ж вы не отвечаете?

— Я ваш друг, вы это знаете, — пробормотал он.

— И вы не осуждаете меня? Вы простили мне?.. Вы понимаете меня? Вы не смеётесь над девушкой, которая накануне назначила свидание одному, а сегодня говорит уже с другим, как я говорю с вами... Не правда ли, вы не смеетесь надо мною?.. — Лицо Маши рдело; она обеими руками держалась за руку Кистера...

— Смеяться над вами, — отвечал Кистер, — я... я... да я вас люблю... я вас люблю!.. — воскликнул он. Маша закрыла себе лицо.

— Неужели ж вы давно не знаете, Марья Сергеевна, что я люблю вас?

X

Три недели после этого свиданья Кистер сидел один в своей комнате и писал следующее письмо к своей матери:

«Любезная матушка!

Спешу поделиться с вами большой радостью: я женюсь. Это известие вас, вероятно, только потому удивит, что в прежних моих письмах я даже не намекал на такую важную перемену в моей жизни, — а вы знаете, что я привык делиться с вами всеми моими чувствами, моими радостями и печальми. Причины моего молчания объяснить вам легко. Во-первых, я только недавно сам узнал, что я любим; а во-вторых, с моей стороны, я тоже недавно почувствовал всю силу собственной привязанности. В одном из первых моих писем отсюда я вам говорил о Перекатовых, наших соседях; я женюсь на их единственной дочери, Марии. Я твёрдо уверен, что мы оба будем счастливы; она возбудила во мне не мгновенную страсть, но глубокое, искреннее чувство, в котором дружба слилась с любовью. Её весёлый, кроткий нрав вполне соответствует моим наклонностям. Она образованна, умна, прекрасно играет на фортепьяно... Если б вы могли её видеть!! Посылаю вам её портрет, мною нарисованный. Нечего, кажется, и говорить, что она во сто раз лучше своего портрета. Маша вас уже любит, как дочь, и не дожждётся дня свидания с вами. Я намерен выйти в отставку, поселиться в деревне и заняться хозяйством. У старика Перекатова четырёста душ в отличном состоянии. Вы видите, что и с этой, материальной, стороны нельзя не похвалить моего решения. Я беру отпуск и еду в Москву и к вам. Ждите меня недели через две, не более. Милая, добрая маменька — как я счастлив!.. Обнимите меня...» п т. д.

Кистер сложил и запечатал письмо, встал, подошёл к окну, выкурил трубку, подумал немного и вернулся к столу. Он достал небольшой листок почтовой бумаги, тщательно обмакнул перо в чернила, но долго не начинал писать, хмурил брови, поднимал глаза к потолку, кусал конец пера... Наконец он решился — и в течение четверти часа сочинил следующее послание:

«Милостивый государь Авдей Иванович!

Со дня вашего последнего посещения (то есть в течение трёх

недель) вы мне не кланяетесь, не говорите со мной и как бы избегаете моей встречи. Всякий человек, бесспорно, в своих поступках волен; вам угодно было прекратить наше знакомство — и я, поверьте, не обращаюсь к вам с жалобой на вас же самих; я не намерен и не привык навязываться кому бы то ни было; мне довольно сознания моей правоты. Я пишу к вам теперь — по чувству долга. Я сделал предложение Марье Сергеевне Перекатовой и получил её согласие, а также и согласие её родителей. Сообщаю это известие — прямо и непосредственно вам, для избежания всяких недоразумений и подозрений. Откровенно признаюсь вам, М. Г., что я не могу слишком заботиться о мнении человека, который сам не обращает малейшего внимания на мнения и чувства других людей, и пишу к вам единственно потому, что в этом случае я не хочу даже подать вида, как будто поступал или поступаю украдкой. Смею сказать: вы меня знаете — и не припишете моего теперешнего поступка какому-нибудь другому, дурному чувству. В последний раз говоря с вами, не могу не пожелать вам, в память нашей прежней дружбы, всевозможных земных благ.

С истинным уважением остаюсь, М. Г.,

ваш покорный слуга

Фёдор Кистер».

Фёдор Фёдорович отправил эту записку по адресу, оделся и велел заложить себе коляску. Весёлый и беззаботный, ходил он, напевая, по своей комнатке, подпрыгнул даже раза два, свернул тетрадь романсов в трубочку и перевязал её голубой ленточкой... Дверь отворилась — и в сюртуке, без эполет, с фуражкой на голове, вошел Лучков. Изумлённый Кистер остановился среди комнаты, не доделав розетки.

— Вы женитесь на Перекатовой? — спросил спокойным голосом Авдей.

Кистер вспыхнул.

— Милостивый государь, — начал он, — входя в комнату, порядочные люди снимают шапку и здороваются.

— Извините-с, — отрывисто возразил бретёр, и снял фуражку. — Здравствуйте.

— Здравствуйте, господин Лучков. Вы меня спрашиваете, женюсь ли я на девице Перекатовой? Разве вы не прочли моего письма?

— Я ваше письмо прочёл. Вы женитесь. Поздравляю.

— Принимаю ваше поздравление и благодарю вас. Но я должен ехать.

— Я желал бы объясниться с вами, Фёдор Фёдорович.

— Извольте, с удовольствием, — отвечал добряк. — Я, признаться, ждал этого объяснения. Ваше поведение со мной так странно, и я, с своей стороны, кажется, не заслуживал... по крайней мере не мог ожидать... Но не угодно ли вам сесть? Не хотите ли трубки?

Лучков сел. В его движениях замечалась усталость. Он повёл усами и поднял брови.

— Скажите, Фёдор Фёдорович, — начал он наконец, — зачем вы так долго со мной притворялись?

— Как это?

— Зачем вы прикидывались таким... безукоризненным созданием, когда вы такой же человек, как и все мы, грешные?

— Я вас не понимаю... Уж не оскорбил ли я вас чем-нибудь?..

— Вы меня не понимаете... положим. Я постараюсь говорить яснее. Скажите мне, например, откровенно: давно вы чувствовали расположение к девице Перекатовой или вспыхнули страстью внезапной?

— Я бы не желал говорить с вами, Авдей Иванович, о моих отношениях к Марье Сергеевне, — холодно отвечал Кистер.

— Так-с. Как угодно. Только вы уж сделайте одолжение, позвольте мне думать, что вы меня дурачили.

Авдей говорил очень медленно и с расстановкой.

— Вы не можете этого думать, Авдей Иванович; вы меня знаете.

— Я вас знаю?... кто вас знает? Чужая душа — тёмный лес, а товар лицом показывается. Я знаю, что вы читаете немецкие стихи с большим чувством и даже со слезами на глазах; я знаю, что на стенах своей квартиры вы развесили разные географические карты; я знаю, что вы содержите свою персону в опрятности; это я знаю... а больше я ничего не знаю...

Кистер начал сердиться.

— Позвольте узнать, — спросил он наконец, — какая цель вашего посещения? Вы три недели со мной не кланялись, а теперь пришли ко мне, кажется, с намерением трунить надо мной. Я не мальчик, милостивый государь, и не позволю никому...

— Помилуйте, — перебил его Лучков, — помилуйте, Фёдор Фёдорович, кто осмелится трунить над вами? Я, напротив, пришёл к вам с покорнейшей просьбой, а именно: сделайте милость, растолкуйте мне ваше поведение со мною. Позвольте спросить: не вы ли насильно меня познакомили, с семейством Перекатовых? Не вы ли уверяли вашего покорного слугу, что он расцветёт душой? Не вы ли, наконец, свели меня с добродетельной Марьей Сергеевной? Почему же

мне не предполагать, что вам я обязан тем последним, приятным объяснением, о котором вас уже, вероятно, надлежащим образом известили? Жениху ведь невеста всё рассказывает, особенно свои невинные проделки. Почему же мне не думать, что по вашей милости мне наклеили такой великолепный нос? Вы ведь такое принимали участие в моём «расцветанье»!

Кистер прошелся по комнате.

— Послушайте, Лучков, — сказал он наконец, — если вы действительно, не шутя, убеждены в том, что вы говорите, — чему я, признаюсь, не верю, — то позвольте вам сказать: стыдно и грешно вам так оскорбительно толковать мои поступки и мои намерения. Я не хочу оправдываться... Я обращаюсь к вашей собственной совести, к вашей памяти.

— Да; я помню, что вы беспрестанно перешептывались с Марьей Сергеевной. Сверх того, позвольте мне опять-таки спросить у вас: не были ли вы у Перекатовых после известного разговора со мной? После этого вечера, когда я, как дурак, разболтался с вами, с моим лучшим другом, о назначенном свиданье?

— Как! вы подозреваете меня в...

— Я ни в чём не подозреваю другого, — с убийственной холодностью прервал его Авдей, — в чём я самого себя не подозреваю; но я также имею слабость думать, что другие люди не лучше меня.

— Вы ошибаетесь, — с запальчивостью возразил Кистер, — другие люди лучше вас.

— С чем честь имею их поздравить, — спокойно заметил Лучков, — но...

— Но, — прервал его в свою очередь раздосадованный Кистер, — вспомните, в каких выражениях вы мне говорили об... этом свиданье, о... Впрочем, эти объяснения ни к чему не поведут, я вижу... Думайте обо мне, что вам угодно, и поступайте, как знаете.

— Вот этак-то лучше, — заметил Авдей. — Насилу-то заговорили откровенно.

— Как знаете! — повторил Кистер.

— Я понимаю ваше положение, Фёдор Фёдорович, — с притворным участием продолжал Авдей. — Оно неприятно, действительно неприятно. Человек играл, играл роль, и никто не замечал в нём актера; вдруг...

— Если б я мог думать, — перебил его, стиснув зубы, Кистер, — что в вас говорит теперь оскорбленная любовь, я бы почувствовал к

вам сожаленье; я бы извинил вас... Но в ваших упрёках, в ваших клеветах слышится один крик уязвлённого самолюбия... и я не чувствую к вам никакой жалости... Вы сами заслужили вашу участь.

— Фу ты, боже мой, как говорит человек! — заметил вполголоса Авдей. Самолюбие, — продолжал он, — может быть; да, да, самолюбие во мне, как вы говорите, уязвлено глубоко, нестерпимо. Но кто же не самолюбив? Не вы ли? Да; я самолюбив и, например, никому не позволю сожалеть обо мне...

— Не позволите? — гордо возразил Кистер. — Что за выражение, милостивый государь! Не забудьте: связь между нами разорвана вами самими. Прошу вас обращаться со мною, как с посторонним человеком.

— Разорвана! Связь разорвана! — повторил Авдей. — Поймите меня: я с вами не кланялся и не был у вас из сожаления к вам; ведь вы позволите мне сожалеть о вас, коли вы обо мне сожалеете!.. Я не хотел поставить вас в ложное положение, возбудить в вас угрызение совести... Вы толкуете о нашей связи... как будто бы вы могли остаться моим приятелем по-прежнему после вашей свадьбы! Полноте! Вы и прежде-то со мной знали только для того, чтоб тешиться вашим мнимым превосходством...

Недобросовестность Авдея утомляла, возмущала Кистера.

— Прекратимте такой неприятный разговор! — воскликнул он наконец. — Я признаюсь, не понимаю, зачем вам угодно было ко мне пожаловать,

— Вы не понимаете, зачем я к вам пришёл? — с любопытством спросил Авдей.

— Решительно не понимаю.

— Не...ет?

— Да говорят вам...

— Удивительно!.. Это удивительно! Кто бы этого ожидал от человека с вашим умом!

— Ну, так извольте ж объяснить наконец...

— Я пришёл, господин Кистер, — проговорил Авдей, медленно поднимаясь с места, — я пришёл вас вызвать на дуэль, понимаете ли вы? Я хочу драться с вами. А! Вы думали так-таки от меня отделаться! Да разве вы не знали, с каким человеком имеете дело? Позволил ли бы я...

— Очень хорошо-с, — холодно и отрывисто перебил его Кистер. — Я принимаю ваш вызов. Извольте прислать ко мне вашего секунданта.

— Да, да, — продолжал Авдей, которому, как кошке, жаль было

так скоро расстаться с своей жертвой, — я, признаться, с большим удовольствием наведу завтра дуло моего пистолета на ваше идеальное и белокурое лицо.

— Вы, кажется, ругаетесь после вызова, — с презрением возразил Кистер. — Извольте идти. Мне за вас совестно.

— Известное дело: деликатесе!.. А, Марья Сергевна! я не понимаю по-французски! — проворчал Авдей, надевая фуражку. — До приятного свидания, Фёдор Фёдорович!

Он поклонился и вышел.

Кистер несколько раз прошёлся по комнате. Лицо его горело, грудь высоко поднималась. Он не робел и не сердился; но ему гадко было подумать, какого человека он считал некогда своим другом. Мысль о поединке с Лучковым его почти радовала. Разом отделаться от своего прошедшего, перескочить через этот камень и поплыть потом по безмятежной реке... «Прекрасно, — думал он, — я завоюю своё счастье. — Образ Маши, казалось, улыбался ему и сулил победу. — Я не погибну! нет, я не погибну!» — твердил он с спокойной улыбкой. На столе лежало письмо к его матери... Сердце в нём сжалось на мгновение. Он решил на всякий случай подождать отсылкой. В Кистере происходило то возвышение жизненной силы, которое человек замечает в себе перед опасностью. Он спокойно обдумывал всевозможные последствия поединка, мысленно подвергал себя и Машу испытаниям несчастья и разлуки — и глядел на будущее с надеждой. Он давал себе слово не убить Лучкова... Неотразимо влекло его к Маше. Он сыскал секунданта, наскоро устроил свои дела и тотчас после обеда уехал к Перекатовым. Весь вечер Кистер был весел, может быть слишком весел.

Маша много играла на фортепьянах, ничего не предчувствовала и мило с ним кокетничала. Сперва её беспечность огорчала его, потом он эту самую беспечность Маши принял за счастливое предсказание — и обрадовался и успокоился. Она с каждым днём более и более к нему привязывалась; потребность счастья в ней была сильнее потребности страсти. Притом Авдей отучил ее от всех преувеличенных желаний, и она с радостью и навсегда отказалась от них. Ненила Макарьевна любила Кистера как сына. Сергей Сергеевич, по привычке, подражал своей жене.

— До свидания, — сказала Кистеру Маша, проводив его до передней и с тихой улыбкой глядя, как он нежно и долго целовал её руки.

— До свидания, — с уверенностью возразил Фёдор Фёдорович, —

до свидания.

Но, отъехав с полверсты от дома Перекатовых, он приподнялся в коляске и с смутным беспокойством стал искать глазами освещённые окна... В доме всё было уже темно, как в могиле.

XI

На другой день, в одиннадцатом часу утра, секундانت Кистера, старый, заслуженный майор, заехал за ним. Добрый старик ворчал и кусал свои седые усы, сулил всякую пакость Авдею Ивановичу... Подали коляску. Кистер вручил майору два письма: одно к матери, другое к Маше.

— Это зачем?

— Да нельзя знать...

— Вот вздор! мы его подстрелим, как куропатку.

— Всё же лучше...

Майор с досадой сунул оба письма в боковой карман своего сюртука.

— Едем.

Они отправились. В небольшом лесу, в двух вёрстах от села Кириллова, их дожидался Лучков с своим секундантом, прежним своим приятелем, раздушенным полковым адъютантом. Погода была прекрасная; птицы мирно чирикали; невдалеке от леса мужик пахал землю. Пока секунданты отмеривали расстояние, устанавливали барьер, осматривали и заряжали пистолеты, противники даже не взглянули друг на друга. Кистер с беззаботным видом прохаживался взад и вперёд, помахивая сорванной веткою; Авдей стоял неподвижно, скрестя руки и нахмурия брови. Наступило решительное мгновение. «Начинайте, господа!» Кистер быстро подошёл к барьеру, но не успел ступить ещё пяти шагов, как Авдей выстрелил. Кистер дрогнул, ступил ещё раз, зашатался, опустил голову... Его колени подогнулись... он, как мешок, упал на траву. Майор бросился к нему... «Неужели?» — шептал умирающий...

Авдей подошёл к убитому. На его сумрачном и похудевшем лице выразилось свирепое, ожесточённое сожаление... Он поглядел на адъютанта и на майора, наклонил голову, как виноватый, молча сел на лошадь и поехал шагом прямо на квартиру полковника.

Маша... жива до сих пор.

1846

Комментарий

Источники текста

Отеч Зап, 1847, № 1, отд. I, с. 1–42.

Т, 1856, ч. 1, с. 49–125.

Т, *Соч*, 1860–1861, т. 2, с. 30–78.

Т, *Соч*, 1865, ч. 2, с. 35–90.

Т, *Соч*, 1868–1871, ч. 2, с. 35–88.

Т, *Соч*, 1874, ч. 2, с. 35–87.

Т, *Соч*, 1880, т. 6, с. 39–93.

Автограф повести не сохранился.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1847, № 1, отд. I, с. 1–42, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 декабря 1846 г.).

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, 1880 с учётом списка опечаток, приложенного к 1-му тому того же издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам текста:

Стр. 35, строка 4: «Авдей Иванович» вместо «Авдей Иваныч» (по *Отеч Зап*; *Т*, 1856; *Т*, *Соч*, 1860–1861; *Т*, *Соч*, 1865).

Стр. 40, строки 8–9: «чересчур» вместо «чрезчур» (по всем другим источникам).

Стр. 43, строка 10: «черезо всю залу» вместо «чрез всю залу» (по *Т*, *Соч*, 1865; *Т*, *Соч*, 1868–1871; *Т*, *Соч*, 1874).

Стр. 46, строки 13–14: «из-за переплетенных пальцев» вместо «из-за переплетенных пялец» (по всем другим источникам).

Стр. 50, строки 31–32: «воскликнул Кистер, вышел на улицу, задумался и глубоко вздохнул» вместо «воскликнул Кистер и вышел на улицу, задумался и глубоко вздохнул» (по всем другим источникам).

Стр. 50, строка 41: «сидел на креслах» вместо «сидел на кресле» (по всем другим источникам).

Стр. 53, строка 20: «занимала его мысли» вместо «занимала его мысль» (по всем другим источникам).

Стр. 56, строка 36: «Что Федор Федорыч не приехал?» вместо «Что, Федор Федорович не приехал?» Запятая снимается по *Отеч Зап*, *Т*, 1856, и *Т*, *Соч*, 1860–1861, а также по смыслу: Ненила Макарьевна

знает, что Кистер не приехал, но спрашивает о причинах его отсутствия. «Федор Федорыч» — по всем источникам до *Т, Соч, 1874*.

Стр. 62, строка 33: «пощадить ее стыдливость» вместо «пощадить ее стыдливости» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 73, строки 13–14: «всех возможных земных благ» вместо «всевозможных земных благ» (по всем другим источникам).

Стр. 77, строка 35: «с спокойной улыбкой» вместо «с покойной улыбкой» (по всем другим источникам).

Стр. 77, строка 36: «письмо его к матери» вместо «письмо к его матери» (по *Отеч Зап*).

Стр. 77, строки 40–41: «все возможные последствия» вместо «всевозможные последствия» (по всем другим источникам).

Датируется 1846 годом на основании пометы Тургенева во всех изданиях, начиная с 1856-го года. Более точная датировка затруднительна, так как в переписке Тургенева прямых упоминаний о работе над этой повестью не сохранилось. По предположению Н. В. Измайлова, в письме Тургенева к Виардо, написанном в начале мая 1846 г., под затеянной «довольно большой работой» следует подразумевать «Бретёра» (см.: *Т, ПСС и П, Письма*, т. 1, с. 559). Исходя из этого, работу над повестью можно отнести к лету — осени 1846 г. Б. М. Эйхенбаум ошибочно указал, что «написана эта повесть в 1846 г., до „Трёх портретов“» (*Т, Сочинения*, т. II, с. 362). Как отмечено нами ниже (наст. том. с. 571), рассказ «Три портрета» был написан в конце 1845 г., то есть до «Бретёра». Но Тургенев во всех изданиях, начиная с 1856-го года, помещал «Бретёра» перед «Тремя портретами», считая, очевидно, последнюю вещь более зрелой. Хотя такой порядок и нарушает хронологическую последовательность, мы сохраняем его в настоящем издании.

Появление «Бретёра» в январской книжке «Отечественных записок» совпало с крайним обострением журнально-литературных споров, вызванных идейным и художественным ростом «натуральной школы». Главным предметом этих споров стали такие значительные произведения, увидевшие свет в начале 1847 г., как «Кто виноват?» Герцена, «Обыкновенная история» Гончарова, первые рассказы из «Записок охотника» Тургенева. В этой сложной и напряженной обстановке новая повесть Тургенева почти не была замечена критикой.

Наиболее ранний отзыв о «Бретёре» принадлежит Белинскому, который в письме к Тургеневу от 19 февраля (3 марта) 1847 г. осторожно выразил свою неудовлетворённость его повестью, противопоставив её «Запискам охотника»: «Мне кажется, у Вас чисто

творческого таланта или нет, или очень мало, и Ваш талант однокорен с Далем. Судя по „Хорю“, Вы далеко пойдёте. Это Ваш настоящий род. Вот хоть бы „Ермолай и мельничиха“ — не бог знает что, безделка, а хорошо, потому что умно и дельно, с мыслию. А в „Бретёре“, я уверен, Вы творили. <...> Если не ошибаюсь, Ваше призвание — наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию; но не опираться только на фантазию» (Белинский, т. 12, с. 336).

Тогда же о новой повести Тургенева коротко упомянул Ап. Григорьев, поставивший её в один ряд с другими произведениями последнего времени — «Кто виноват?» Герцена, «Родственники» И. Панаева, «Без рассвета» А. Нестроева (П. Н. Кудрявцева), — предметом которых была «трагическая гибель всего лучшего, всего благороднейшего в личности вследствие бессилия воли». О Лучкове критик писал: «Бретёр — это Грушницкий с энергиею натуры Печорина, или, пожалуй, Печорин, лишённый блестящего лоска его ума и образованности — олицетворение тупой апатии, без очарования, доставшегося даром...» (А. Г. Обзорение журнальных явлений за январь и февраль текущего года. — Московский городской листок, 1847, № 52, 5 марта).

О том, как воспринимали «Бретёра» некоторые из читателей-современников, позволяет судить письмо к Тургеневу Е. А. Ладыженской, второстепенной писательницы, с которой он познакомился в начале 1855 г. 23 марта того же года она писала: «Я на днях, Иван Сергеевич, могу сказать, что отрыла в старом журнале 47-го года одну Вашу повесть, под заглавием „Бретёр“ <...> В этой повести Вам чрезвычайно удалось оба типа: тип бретёра и тип немца, — в них много оригинальности. Сколько, в самом деле, таких людей, которые слышат за высшие умы оттого только, что не дают себя разгадать. Что касается до Кистера, то я сама встретила в *нашем* гусарском полку (как говорит Маша Перекатова) такого идеального юношу с развитою „интеллигенциею“, с образованностью, с пиитическими стремлениями, но с тупым умом, и сожалела, что никто этим типом не воспользовался, — я тогда о Вашей повести не знала. Сама Маша, кажется, обрисована не так удачно и не слишком метко, — а может быть, Вы и хотели, чтоб она вышла несколько бесцветна. Зато мать очень хороша, даром, что о ней мало говорено» (Т сб, вып. 2, с. 371, публикация Т. А. Никоновой).

Можно думать, что сам Тургенев не считал эту повесть вполне удавшейся: при подготовке издания 1856 г. он подверг её

значительной правке, в результате чего повесть приобрела большую художественную цельность и завершённость.

В издании 1856 года несколько изменилась разбивка глав: из IV и V глав журнального текста было сделано четыре главы (IV, V, VI и VII), вследствие чего общее количество глав возросло с девяти до одиннадцати. Кроме того, в главе VII (по новой нумерации — IX) было исключено её окончание — психологически неубедительная, крайне растянутая, мелодраматическая сцена объяснения Кистера с Машей, следовавшая после их признания во взаимной любви. В целом же сюжетно-композиционная основа повести осталась без изменений.

Правкой была затронута преимущественно стилистика повести и отчасти характеры главных героев. Последовательному исключению подвергались многочисленные в журнальном тексте сентенции автора, которыми он комментировал или обобщал те или иные особенности поведения и психологии действующих лиц повести (см. раздел «Варианты» в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. V, с. 443–456).

Характеры Авдея Лучкова и Кистера после переделки повести сохранили все свои основные черты, но Тургенев освободил их от следов риторики, которую он сам жёстко высмеивал ещё в «Андрее Колосове», от излишнего нажима, от навязчивого порой повторения одних и тех же мотивов (см. там же). Весьма существенной для образа бретёра явилась новая мотивировка его озлобленности, введенная в самом начале повествования: «Он рано остался сиротой, вырос в нужде и загоне».

В журнальном тексте в образе Маши, наряду с простотой, естественностью, наивной прямоотой и искренностью чувств, иронически подчеркивалось влияние на её воспитание Ненилы Макарьевны. В новой редакции Тургенев исключил этот мотив, выделив в образе Маши главное — её свободное от влияния окружающей пошлой среды развитие.

В журнале действие повести приурочивалось к 1819 г. — эта дата была дважды указана на первых же страницах текста. В 1856 году в начальном абзаце вместо 1819 появилось: 1829, во втором же упоминании сохранилась — очевидно, по недосмотру — прежняя дата; новая цифра была введена здесь лишь в издании *Т, Соч*, 1865. В дальнейших изданиях в обоих случаях сохранялась датировка 1829 годом. Б. М. Эйхенбаум (*Т, Сочинения*, т. II, с. 363) счёл новую датировку опечаткой, не замеченной Тургеневым, и указал, что она противоречит упоминаниям в тексте повести о Байроне и Россини. На основании этих соображений он восстановил первоначальную дату —

1819. При этом Б. М. Эйхенбаум упустил из виду, что его поправка привела к другому анахронизму: «греведоновские головки» не могли висеть в комнате у Кистера в 1819 г. Следует также принять во внимание, что в этой ранней повести (как и в «Трёх портретах») Тургенев ещё не в полной мере овладел искусством точной исторической детали, столь характерным для периода его зрелого мастерства. Таким образом, можно полагать, что новая дата (1829) была введена самим Тургеневым.

В новой редакции повесть обратила на себя внимание критики. Обстоятельный разбор её дал А. В. Дружинин в статье «Повести и рассказы И. С. Тургенева» (*Б-ка Чит.*, 1857, № 3). Отвергая традиции «натуральной школы» в том толковании, которое давал этому направлению Белинский, и противопоставляя им «эстетическую теорию», свободную от «рутинного метода нашей беллетристики сороковых годов», Дружинин упрекал Тургенева в том, что он «колеблется между двумя противоположными направлениями», не имея мужества оставаться только «поэтом»: «Дух анализа, совершенно лишнего при вдохновении, не даёт ему покоя и вторгается повсюду — то в виде шутки, то какого-нибудь холодного замечания, не чуждого дендизма, то краткого сатирического отступления, не ведущего к делу». В «Бретёре», по мнению критика, это выразилось в частности в том, что Кистер, «лицо привлекательное, юное и, без всякого сомнения, симпатическое автору, изображено в виде какою-то жалкого дурачка», а также в том, что Тургенев «подлил достаточное количество житейской пошлости в изображение семейства своей героини» (*Дружинин*, т. 7, с. 321, 327).

В Авдее Лучкове Дружинин увидел один из «сколков с Печорина» и использовал разбор тургеневской повести и её озлобленного героя для осуждения «сильных людей, не находящих себе места в современном обществе», то есть, в сущности, для осуждения духа отрицания и протеста, нашедшего своё выражение в герое романа Лермонтова. Эта ложная тенденция привела Дружинина к чрезмерному сближению Лучкова с Печориным: «Сведите вместе обоих героев, откиньте поэтическую грусть, которой так много пошло на создание Героя нашего времени, поставьте Авдея Лучкова на несколько ступенек выше относительно блеска и просвещения, — вас поразит обилие общих черт уже в том, как и в другом характере. Озлобленность, жёсткость натуры, фразерство, отсутствие нежности и общительности наполняют собой души этих охлаждённых смертных...» (там же, с. 329). Данная Дружининым характеристика

Лучкова вызвала одобрение В. П. Боткина, который писал Дружинину 27 марта 1857 г. по поводу его второй статьи о Тургеневе: «Она для меня важнее и глубокомысленнее первой <...> Характеристика Авдея Лучкова и вообще озлобленных людей — бесценная...» (Письма к А. В. Дружинину (1850–1860). М., 1948, с. 56). Двумя годами позднее дружининскую оценку Лучкова повторил Ап. Григорьев, также подчеркнувший, что Тургенев разоблачил «одну сторону лермонтовского Печорина в грубых чертах своего „Бретёра“» (Григорьев, с. 320).

Увлечённый идеей развенчания «лермонтовского направления», Дружинин не смог понять глубокого различия между Лучковым и героем романа Лермонтова. Поэтому в его статье не было показано, что тургеневский «бретёр» воплощал типическое явление русской провинциальной жизни 1840-х годов, — явление, действительно возникшее отчасти под влиянием Печорина, но отличавшееся от него душевной пустотой, умственным убожеством и пошлостью.

При известной художественной незрелости «Бретёра» (особенно в журнальной редакции) остаётся бесспорным, что Тургенев создал в этой повести жизненно правдивый, типический характер и дал ему правильную социально-этическую оценку. В этом смысле характерно, что тип Лучкова получил своё дальнейшее развитие у Чехова в лице штабс-капитана Соленого («Три сестры»). Впервые на близость этих двух образов указал И. Н. Розанов в статье «Отзвуки Лермонтова»: «Прекрасную вариацию, но не Печорина, а именно тургеневского Лучкова дал впоследствии Чехов в необыкновенно удавшемся ему Соленом („Три сестры“). Офицер Соленый, как и Лучков, озлоблен и груб, потому что глуп и ограничен. Придравшись к пустякам, он вызывает на дуэль и убивает товарища по полку, более счастливого своего соперника, милого и развитого барона Тузенбаха, русского с немецкой фамилией (у Тургенева — Кистер). Соленого и называют в пьесе „бретёром“. Любопытно, что Соленый груб только в обществе, оставшись же вдвоём с Тузенбахом, он прост и ласков, как и Лучков с Кистером» (сб. «Венок М. Ю. Лермонтову». М.; П., 1914, с. 282). Соображения И. Н. Розанова были поддержаны и развиты С. Н. Дурылиным в книге «„Герой нашего времени“ М. Ю. Лермонтова» (М., 1940, глава «Сверстники и потомки Печорина»). Нелишне отметить, что незадолго до начала работы над «Тремя сестрами» Чехов вспомнил героя тургеневской повести, рассказывая в письме к А. С. Суворину от 6 февраля 1898 г. о деле Дрейфуса: «Затем этот Эстергази, бретёр в тургеневском вкусе, нахал, давно уже

подозрительный, не уважаемый товарищами человек...» (Чехов А. П. Собр. соч. в 12-ти т. М., 1957. Т. XII, с. 213).

«Бретёр» сравнительно рано стал известен европейским читателям.

[15] Уже в 1858 г., в авторизованном переводе Кс. Мармье, под заглавием «Le Ferrailleur», он вошёл в состав сборника тургеневских повестей, изданную в Париже (1858, *Scènes, I*). В 1874 г. в Италии была издана книжка, содержащая тоже авторизованный перевод «Трёх встреч» и «Бретёра» (Tre incontri. L'Accattabrighe. J. Tourguenieff. Traduzione dal russo autorizzata dall'autore di M. d'Ormosi. Milano, 1874. — Обе повести напечатаны здесь с некоторыми сокращениями). В 1877 г. в парижском журнале «Musée Universel». № 41–48, появился новый французский перевод «Бретёра» («Le Ferrailleur»). В 1878 г. в газете «Dziennik Warszawski» был напечатан польский перевод «Бретёра» («Zavadjaka» — № 88, 93, 98, 103, 127).

Примечания

1

Бретёр — (другое написание: бреттёр) имеет значение: «человек, ищущий повода к дуэли», «скандалист», «забияка». Заимствовано из французского языка («bretteur от brette — длинная шпага; собственно épée de Bretagne, откуда brette». — *Преображенский А. Г.* Этимологический словарь русского языка. М., 1959. Т. I, с. 45). Подробнее см. в заметке Т. А. Никоновой: *Т сб*, вып. 3. с. 171–172.

2

...на стенах висели ~ четыре греведоновские головки... — Анри Греведон (1776–1860) — французский художник, портретист и литограф. В 1804–1812 гг. он жил в России, где был избран членом Академии художеств. Проведя затем несколько лет в Стокгольме и в Лондоне, Греведон в 1816 г. возвратился в Париж. В 1820-1830-х годах он создал несколько серий женских литографированных портретов. Литографии Греведона получили широкое распространение во всех европейских странах, в том числе и в России, не раньше середины 1820-х годов.

3

Читал, брат, «Идиллию» Клейста. — Кистер читал, по всей вероятности, стихотворение немецкого поэта-романтика и драматурга Генриха Клейста (1777–1811) «Dor Schrecken im Bade» («Испуг во время купанья»), с подзаголовком «Идиллия». Однако не исключено, что Тургенев имел в виду одну из идиллий поэта XVIII века Эвальда-

Христиана Клейста (1715–1759).

4

...в зелёном круглом фраке... — В 1820-30-х годах в России были в моде английские фраки с округленными фалдами (см.: Русский костюм XIX века. М., 1960, с. 18–20).

5

В то время только что начинали у нас толковать о лорде Байроне. — Первое упоминание в России о Байроне появилось в журнале «Российский музеум», № 1 за 1815 г. Однако только в 1819–1820 гг. личность и творчество английского поэта привлекают всеобщее внимание русского общества и становятся предметом горячих споров (см. об этом: Маслов В. И. Начальный период байронизма в России. Киев, 1915, с. 1–48).

6

В то время процветал ещё экосез. — Бальный танец экосез, происшедший от шотландского народного танца (по-французски *écossaise* — шотландский), получил распространение во Франции, а затем и в других европейских странах с первой четверти XVIII в. В России расцвет этого танца относится к первой четверти XIX в. (Ивановский Н. П. Бальный танец XVI–XIX вв. Л.; М., 1948, с. 123–124).

7

Честный человек! А ведь она очень собой хороша; посмотри-ка. — Г. В. Иванов в статье «„Честный“ или „черствый“?» (об одной фразе

повести И. С. Тургенева „Бретёр“)» пишет об «авторской описке», считая, что вместо «честный человек» следует печатать «черствый человек» (Русская литература, 1976, № 1, с. 216). Это мнение оспаривает А. Г. Гаврилов, справедливо считающий, что выражение «честный человек» не относится к Лучкову: говорящий (Кистер) произносит эти слова о самом себе, «подтверждая, таким образом, истинность сообщения, вызвавшего сомнение у собеседника». Для подкрепления своих выводов А. К. Гаврилов ссылается на аналогичные примеры подобного употребления выражения «честный человек» в произведениях Пушкина («Капитанская дочка»), Лермонтова («Тамбовская казначейша»). Гоголя («Женитьба», «Мертвые души»). Статья А. К. Гаврилова публикуется в сб.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества (в печати).

8

...«В гамбургской газете не ты ли читал, как в запрошлом лете Миних побеждал...». — Судя по примечанию Тургенева к этому месту во французском переводе «Бретёра» («Ce sont des petits vers; une espèce de scie de régiment» — 1858, *Scènes*, I, p. 247), Лучков напевал какую-то ходовую солдатскую песню. Ни в песенниках XVIII — начала XIX в., ни в позднейших фольклорных сборниках текст этой песни обнаружить не удалось.

9

Ну, ну, шпрехен зи дейч, Иван Андреич... — Эта обывательско-чиновничья поговорка была введена в литературу Гоголем («Мертвые души», т. I, главы VIII и X), под влиянием которого и использовал её Тургенев.

10

...Россини только что входил тогда в моду... — Всеобщее

признание и славу во всех странах Европы доставила Россини опера «Севильский цирюльник» (1816). В России оперы Россини с большим успехом ставились с начала 1820-х годов.

11

Маши заиграла блестящие вариации на россиниевскую тему. — В 1820-е годы широкое распространение во всей Европе приобрели виртуозные, хотя и бессодержательные, фортепьянные пьесы французского композитора и пианиста Анри Герца (Henri Herz, 1803–1888). Первым его произведением на россиниевскую тему были «Блестящие вариации на оперу Россини „Дева озера“», впервые поставленную в 1819 году. Возможно, что Тургенев имел в виду эту пьесу Герца, который был известен и среди русских любителей музыки.

12

До зубов (франц.).

13

Долгим лугом называлась широкая и ровная поляна на правой стороне речки Снежинки... — Под названиями Долгий луг и речка Снежинка Тургенев описал местность близ Бежина луга по реке Снежеди, в 15 км от Спасского. Во французском переводе повести (1858, *Scènes, I*) им было восстановлено настоящее название реки: «sur la rive droite du Snèjeda». (В той же форме — Снежеда, вместо правильного Снежедь — эта река упомянута в письме Тургенева к М. Н. Толстой от 4(16) июня 1857 г.)

14

Потому что вы вежливы (*франц.*).

15

Для приведённых здесь и ниже данных о прижизненных переводах ранних повестей и рассказов Тургенева на иностранные языки использованы, кроме различных печатных источников (как русских, так и зарубежных), материалы картотеки С. А. Венгерова, хранящейся в *ИРЛИ*.